

СКОТТ В.



СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ:
ГРАФ РОБЕРТ ПАРИЖСКИЙ

Вальтер Скотт
Граф Роберт Парижский
Серия «Рассказы трактирщика»
Серия «Собрание сочинений», книга 22

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=125396
Собрание сочинений: Граф Роберт Парижский: Роман: Мир книги,
Литература; Москва; 2010
ISBN 978-5-486-03454-1

Аннотация

Вальтер Скотт (1771–1832) – английский поэт, прозаик, историк. По происхождению шотландец. Создатель и мастер жанра исторического романа, в котором он сумел слить воедино большие исторические события и частную жизнь героев. Из-под его пера возникали яркие, живые, многомерные и своеобразные характеры не только реальных исторических, но и вымышленных персонажей. За заслуги перед отечеством в 1820 г. Скотту был дарован титул баронета. Роман «Граф Роберт Парижский», публикуемый в данном томе – это увлекательная, преисполненная таинственными загадками и интригами жизнь византийского двора времен одного из наиболее могущественных императоров, Алексея Комнина. Любовь и ненависть, благородство и предательство, рыцарские турниры и

коварные заговоры ждут читателя в романе, названном именем одного из главных героев.

Содержание

Глава I	6
Глава II	17
Глава III	61
Глава IV	90
Глава V	122
Глава VI	147
Глава VII	157
Конец ознакомительного фрагмента.	165
Комментарии	

Вальтер Скотт

Граф Роберт Парижский

© ООО ТД «Издательство Мир книги», оформление,
2010

© ООО «РИЦ Литература», состав, комментарии, 2010

*** * ***

Глава I

Леонтий

*Та сила, что, как вестницу ненастья,
На небеса шлет грозовую тучу,
Веля в гнездо укрыться коноплянке,
На Грецию взирала безучастно
И нам судьбы ничем не предрекла.*

Деметрий

*О, были сотни предзнаменований:
Поправление законов, слабость власти,
Бунтарство черни, вырождение знати –
Все признаки больного государства.
В те дни, когда заводит всякий сброд
Речь о правах, каких еще, Леонтий,
Ждать знамений в угоду демагогам,
Что вводят в заблуждение лишь глупцов?*

«Ирина», акт I^[1]

[2]

Внимательным наблюдателям за жизнью растительного царства хорошо известно, что хотя отводок от старого дерева по внешнему виду ничуть не отличается от молодого побега, в действительности этот отводок достиг такой же

¹ Стихотворные переводы, кроме особо оговоренных, выполнены В. Васильевым.

степени зрелости или даже одряхления, как и дерево-родитель. Этой особенностью, говорят, и объясняется одновременная болезнь и гибель многочисленных деревьев определенной породы, получивших все свои жизненные соки от одного ствола и поэтому неспособных пережить его.

Точно так же земные владыки пытаются ценой огромного напряжения сил пересаживать целые поселения, большие города и столицы; основатель такой столицы рассчитывает, что она будет столь же богата, величава, обширна и пышно украшена, как и прежняя, которую он жаждет воссоздать. В то же время он надеется начать новую эру, воздвигнув новую метрополию, которая должна, по его замыслу, не только сравняться долговечностью и славой со своей предшественницей, но, быть может, даже затмить ее юным великолепием. Однако у природы существуют свои законы^[3], равно применимые, надо полагать, и к человеческому обществу, и к царству растений. Есть, видимо, общее правило, согласно которому то, чему предназначена долгая жизнь, должно развиваться медленно и улучшаться постепенно; всякая же попытка, какой бы грандиозной она ни была, поскорее осуществить задуманное на века, с самого начала обрекает предпринятое дело на преждевременную гибель. В одной прелестной восточной сказке^[4] дервиш рассказывает султану, как он ухаживал за великолепными деревьями, среди которых они сейчас гуляют, когда эти деревья были еще слабыми побегами; гордость султана уязвлена, ибо он видит, что

рощи, выращенные столь безыскусственно, с каждым днем набирают новые силы, а его собственные истощенные кедры, насильственно вырванные единым усилием из родной почвы, поникли своими царственными кронами в долине Ореца.

Насколько мне известно, все обладающие вкусом люди – кстати, при этом многие из них недавно побывали в Константинополе – сходятся на том, что если бы любому сведущему человеку дали возможность обозреть земной шар и выбрать город, более всего подходящий для столицы мировой империи, он отдал бы предпочтение городу Константина^[5], столь счастливо сочетающему в себе красоту, роскошь, безопасность местоположения и величие. И все-таки, при всех преимуществах расположения и климата, при всем архитектурном блеске церквей и дворцов, при обилии мрамора и сокровищницах, полных золота, даже сам царственный основатель города, должно быть, понимал, что хотя он и может по своему усмотрению распорядиться этими богатствами, но создать замечательные творения искусства и мысли, которые веками потрясают и радуют людей, способен только человеческий разум, развитый и доведенный древними до высшего своего предела. Греческий император мог своей властью разорить другие города и вывезти оттуда статуи и жертвенники, для того чтобы украсить ими новую столицу, но и те люди, которые совершили великие подвиги, и те – не менее, может быть, почитаемые, – которые запечатлели эти деяния в поэзии, в живописи, в музыке, давно перестали существо-

вать.

Для народа, хоть он и был пока что самым цивилизованным в мире, уже прошел тот период, когда жажда заслуженной славы является единственной или главной причиной, побуждающей трудиться историка или поэта, художника или ваятеля. Принятая в государстве раболепная и деспотическая конституция уже давно полностью разрушила гражданский дух, оживлявший историю свободного Рима; она оставила лишь бледные воспоминания, которые отнюдь не вызывали желания соперничать с нею.

Если представить себе Константинополь в виде одушевленного существа, то следует сказать, что пусть бы даже Константин и сумел возродить свою новую столицу, привив ей жизненно важные и животворные принципы древнего Рима, — Константинополь уже не мог подхватить, как не мог и Рим бросить, эту блистательную искру.

В одном важнейшем отношении состояние столицы Константина совершенно изменилось, и, безусловно, к лучшему. Мир стал теперь христианским и, отказавшись от языческих законов, избавился от гнета позорных суеверий. Нет ни малейшего сомнения и в том, что лучшая вера дала естественные и желанные плоды, понемногу смягчая грубость сердец и укрощая страсти народа. Но в то время как многие из обращенных смиренно принимали новое вероучение, кое-кто в своем высокомерии обеднял Священное Писание собственными домыслами, а другие не упускали случая ис-

пользовать свою принадлежность к церкви или духовный сан как средство к достижению временной власти. Так и получилось, что в этот критический период результаты великой религиозной перемены в стране^[6], хотя и принесли непосредственные плоды, посеяв множество добрых семян, которые должны были взойти впоследствии, но в четвертом столетии они еще не смогли проявиться настолько, чтобы приобрести господствующее влияние, ожидаемое людьми, в них уверовавшими.

Само убранство Константинополя, его вывезенная из чужих краев роскошь были отмечены некоей печатью старческого увядания. Когда Константин привез в новую столицу древние статуи, картины, обелиски и другие произведения искусства, он тем самым признал, что ничего сравнимого с ними в более поздние времена уже создано не было. Император, ограбивший весь мир и особенно Рим, для того чтобы украсить свой город, стал похож на беспутного юнца, который похищает у престарелой родительницы драгоценности и дарит их ветреной любовнице, хотя все видят, как неуместны на ней эти украшения.

Итак, превратившись в 324 году^[7] из скромной Византии в императорскую столицу, едва возникший и, повторяем, сверкающий заимствованным блеском, Константинополь уже таил в себе признаки быстрого упадка, к которому незаметно, подчиняясь внутренним причинам, клонился весь цивилизованный мир, ограниченный тогда рамками

Римской империи. И потребовалось не так уж много веков, чтобы эти знамения гибели полностью оправдались.

В 1080 году Алексей Комнин² взошел на императорский трон^[8], то есть был объявлен властителем Константинополя и всех зависимых от него областей и провинций. Отметим кстати, что, пожелай император вести спокойное существование, ему не следовало бы выезжать из своей столицы, ибо за ее пределами сон его то и дело нарушался бесчинными набегами скифов и венгров. Только в самом городе, видимо, и было безопасно жить: недаром императрица Пульхерия^[9], решив воздвигнуть храм в честь Девы Марии, выбрала место для него подальше от городских ворот, чтобы злобные вопли варваров не прерывали возносимых ею молитв.

По тем же соображениям неподалеку от этого храма построил свой дворец и правящий император.

Алексей Комнин оказался в положении монарха, который скорее расхлебывает последствия того, что его предшественники были богаты, могущественны и владели огромной державой, нежели пользуется остатками этого наследства. Хотя он и звался императором, но управлять своими распадающимися провинциями мог не больше, чем издыхающая лошадь может двигать конечностями, на которых уже расселись вороны и ястребы, терзающие добычу.

Всевозможные враги со всех сторон нападали на его вла-

² См. у Гиббона, гл. XLVIII, о происхождении и первоначальной истории дома Комнинов. (Примеч. авт.)

дения и то с полным, то с переменным успехом вели с ним войны; многочисленные народы, с которыми он враждовал, — франки на западе, турки, наступающие с востока, бесчисленные орды скифов и половцев, надвигавшиеся с севера и посылавшие тучи стрел, сарацины, вернее племена, на которые они делились, наседавшие с юга, — все они смотрели на греческую империю как на лакомый кусок. У них у всех были свои собственные способы ведения войны и приемы боя, но римляне, как продолжали называть несчастных подданных греческой империи, неизменно оказывались куда более слабыми, более неумелыми и трусливыми, чем любой враг, с которым они встречались на поле сражения; император почитал себя счастливым, если ему удавалось вести оборонительную войну, играя на противоречиях и используя диких скифов, для того чтобы отбросить турок, или и скифов и турок, чтобы оборониться от неукротимых франков, которых во времена Алексея Петр Пустынник^[10] особенно воодушевил могущественной идеей Крестовых походов.

И если Алексей Комнин во время своего беспокойного правления Восточной империей был вынужден вести нечестную и коварную политику, если порой, сомневаясь в доблести своих войск, колебался, вступать ли ему в бой, если нередко хитрость и обман заменяли ему мудрость, а вероломство — храбрость, то в этом скорее проявлялись позорные черты эпохи, нежели его личные свойства.

Императора Алексея можно обвинить и в том, что он до-

вел придворный этикет до такой помпезности, которая часто граничила с глупостью. Он любил присваивать себе и даровать другим титулы, о которых оповещали пестро раскрашенные нагрудные знаки, невзирая на то, что эти пожалованные императором звания лишь усиливали презрение свободных варваров к придворной знати. Греческий двор был обременен бессмысленными церемониями, призванными возместить недостаток благоговейного почтения к государю, которое является данью истинным достоинствам и могуществу. Но не Алексей ввел эти церемонии: уже много веков их придерживались все византийские монархи. Действительно, по этому мелочному этикету, устанавливавшему правила поведения в самых обыденных делах на протяжении дня, по количеству глупейших правил греческая империя не могла сравниться ни с одним государством, за исключением китайской империи: обе они, бесспорно, находились под влиянием одного и того же суетного стремления – придать достойный вид и облик значительности тому, что по самой своей природе было весьма незначительно.

Но и тут мы должны оправдать Алексея, ибо хотя уловки, к которым он прибегал, были довольно низменными, все же они приносили его империи больше пользы, чем меры, к которым мог бы обратиться в подобных обстоятельствах более гордый и мужественный государь. Алексей, конечно, не стал бы мериться силами в поединке со своим франкским

соперником, прославленным Боэмундом Антиохийским^{3[11]}, однако ему не раз доводилось сознательно рисковать жизнью; досконально изучив его деяния, нельзя не прийти к выводу что особенно опасным этот греческий император становился в тех случаях, когда враги пытались задержать его во время отступления после стычки, в которой он был побежден.

Мало того, что Алексей в соответствии с обычаями того времени не колеблясь подвергал себя иной раз опасностям рукопашной схватки, – он еще обладал таким знанием военного дела, какое считалось бы достаточным и в наши дни. Он знал, как с наибольшей выгодой занять боевые позиции, и порою с подлинным искусством умел скрыть свое поражение или ловко использовать сомнительный исход боя, к главному разочарованию тех, кто полагал, что война ведется только на поле сражения.

Хорошо разбираясь в способах ведения войны, Алексей Комнин был еще более искусен в вопросах политики; не ограничиваясь только целью переговоров, которые он вел в данный момент, умея заглядывать далеко вперед, император уверенно добивался важных и прочных преимуществ; тем

³ Боэмунд, сын Роберта Гискара, норманнский покоритель Апулии, Калабрии и Сицилии, к началу первого Крестового похода имел титул графа Тарентского. Он был уже немолод, но охотно присоединился к походу латинян и стал князем Антиохийским. О подробностях его походов, о его смерти, а также о его необыкновенном нраве рассказывается у Гиббона, гл. LIX, и в «Истории Крестовых походов» Миллса, т. I. (*Примеч. авт.*)

не менее нередко ему приходилось и проигрывать из-за беззастенчивого коварства или откровенного предательства со стороны варваров, как обычно именовали греки все остальные нации, в особенности же со стороны племен (их никак нельзя назвать государствами), окружавших его империю.

Мы можем завершить нашу краткую характеристику Комнина, сказав, что, не будь он вынужден непрерывно держать всех в страхе, чтобы уберечься от бесчисленных заговоров как в своей собственной семье, так и за ее пределами, он, по всей вероятности, был бы исполненным доброй воли и гуманным государем. Бесспорно, что он проявил себя человеком добродушным и реже рубил головы и выкалывал глаза, чем его предшественники, которые в основном прибегали именно к этому способу борьбы с честолюбивыми происками соперников.

Остается еще упомянуть, что, полностью разделяя предрассудки той эпохи, Алексей лицемерно скрывал свое суеверие. Утверждают даже, что его супруга Ирина, которая, конечно, лучше других знала подлинный характер императора, обвинила своего умирающего супруга в том, что и на ложе смерти он прибегает к обману – постоянному спутнику своей жизни.

Алексей с глубоким интересом относился ко всем вопросам, связанным с церковью, и всегда боялся, что в ней возобладают ереси, которые он ненавидел – или делал вид, что ненавидит. Мы не находим в его отношении к манихеям

или к павликианам^[12] того сострадания к их теоретическим ошибкам, которого, по современным представлениям, вполне заслуживали эти несчастные секты размахом своей полезной мирской деятельности. Император не знал снисхождения к тем, кто неверно истолковывал таинства церкви или ее учение, и был убежден, что защита религии от раскола – такой же непреложный его долг, как и защита империи от бесчисленных варварских племен, нападавших на ее границы.

Здравый смысл в сочетании с нравственной слабостью, низость в сочетании с величием, благоразумная расчетливость в сочетании с малодушием, доходившим, по крайней мере с точки зрения европейцев, до прямой трусости, – такова была основа характера Алексея Комнина, а жил он в тот век, когда на чаше весов колебалась судьба Греции и всего, что еще уцелело от ее культуры и искусства, когда их спасение или гибель зависели от способности императора распорядиться картами, которые были ему сданы в этой нелегкой игре.

Мы вкратце изложили эти наиболее существенные обстоятельства для того, чтобы читатель, достаточно сведущий в истории, вспомнил особенности эпохи, избранной нами в качестве фундамента для нижеследующей повести.

Глава II

Офий

*Наследница властителя земли,
Как ты зовешь хвастливо этот город,
Стоит одна в веках, как в океане, —
Большой страны последний островок:
Он грозной бездной не был поглощен
И, уцелев по милости природы,
Громадами подъятых в небо скал
Безбрежную пустыню озирает
В величье одиноком.*

«Константин Палеолог»^[13], ст. 1

Перенесемся сперва в то место столицы Восточной империи, которое именуется Золотыми воротами Константинополя^[14], и, кстати, отметим, что этот пышный эпитет выбран не так уж опрометчиво, как можно было бы ожидать от греков с их пристрастием к напыщенным восхвалениям самих себя, своей архитектуры и своих памятников.

Феодосий, прозванный Великим^[15], значительно перестроил и укрепил мощные, на вид неприступные стены, которыми Константин окружил город. Триумфальная арка, сооруженная в былые, лучшие, хотя и отмеченные уже печатью вырождения времена, служила одновременно воротами, открывающими путникам вход в город. Над ее сводом выси-

лась бронзовая статуя, олицетворявшая богиню победы, которая склоняла чашу весов в пользу Феодосия; поскольку зодчий решил возместить недостаток вкуса роскошью, все надписи были окружены золоченым орнаментом; из-за этого орнамента ворота и получили в народе название Золотых. Статуи, изваянные в далекую и благодатную эпоху, смотрели со стен, отнюдь не составляя удачного сочетания с их архитектурой. Более поздние по времени украшения Золотых ворот странно противоречили в ту пору, о которой мы рассказываем, льстивым надписям, гласившим, что благодаря мечу Феодосия «победа вернулась в этот город» и наступил «вечный мир»: на арке было установлено несколько орудий для метания крупных дротиков, и, таким образом, это чисто декоративное сооружение оказалось приспособленным для нужд обороны.

Был вечерний час, и свежий ветерок, дувший с моря, располагал прохожих, если только они не слишком торопились по своим делам, замедлить шаг и полюбоваться удивительными воротами, красивыми видами природы и разнообразными произведениями искусства, которые предлагал Константинополь и своим обитателям, и приезжим.

Один человек, во всяком случае, проявлял ко всему этому больше интереса и любопытства, чем следовало ожидать от местного уроженца; быстрые удивленные взгляды, которые он бросал на окружавшие его редкости, говорили о том, что воображение его поражено новым и необычным зрелищем.

Внешность этого человека выдавала в нем иноземца и воина: какая бы случайность ни занесла его в настоящее время к Золотым воротам, какую бы службу ни нес он при императорском дворе, если судить по цвету лица и волос, родина его находилась далеко от греческой столицы.

Ему было года двадцать два, и он отличался великолепным атлетическим сложением — качеством, в котором понимали толк жители Константинополя, частенько посещавшие гимнастические игры, где и научились ценить прекрасное человеческое тело, ибо среди их сограждан встречались несравненные образцы рода людского.

Впрочем, греки редко бывали так высоки ростом, как этот чужеземец у Золотых ворот; его зоркие голубые глаза и белокурые волосы, которые выбивались из-под легкого, изящно отделанного серебром шлема, украшенного гребнем в виде дракона, раскрывающего свою ужасную пасть, а также очень светлая кожа свидетельствовали о том, что он уроженец севера.

Несмотря на редкостную красоту лица и фигуры, его никак нельзя было упрекнуть в женственности. От этого юношу спасали физическая сила и та спокойная уверенность в себе, с какой он смотрел на окружавшие его чудеса: глаза незнакомца выражали не бессмысленную растерянность тупицы и невежды, напротив того — в них сверкал смелый ум, который, схватывая многое на лету, старается разобраться во всем, что было им не понято или, быть может, понято непра-

вильно. Этот острый, светившийся мыслью взгляд привлекал внимание к молодому варвару, и прохожие, удивляясь тому, что дикарь из какого-то неведомого или отдаленного уголка земли обладает столь благородной внешностью, говорящей о его высоком уме, в то же время испытывали к нему уважение за то самообладание, с которым он относился к новым обычаям и обстановке, к предметам роскоши, чье назначение было ему совершенно неведомо.

Одежда молодого человека, представляя собой удивительную смесь воинственного великолепия с женственной изысканностью, давала возможность опытному наблюдателю определить его национальность и род службы. Мы уже упоминали о причудливом шлеме с гребнем, изобличавшем в юноше чужеземца; пусть читатель добавит еще в своем воображении небольшую кирасу, или серебряный нагрудник, настолько узкий, что он явно не мог прикрыть такую широкую грудь и, следовательно, служил скорее украшением, нежели защитой; более того – попади точно брошенный дротик или стрела с острым наконечником прямо в эту богато разукрашенную кирасу, она и в этом случае вряд ли уберегла бы молодого воина от раны.

С его плеч на спину спадало нечто, напоминавшее медвежью шкуру; лишь при самом пристальном разглядывании обнаруживалось, что это отнюдь не охотничий трофей, а лишь подделка под него – короткий плащ, вытканый из толстого мохнатого шелка, и притом столь искусно, что даже на

близком расстоянии ткань была похожа на шкуру медведя. На левом боку у чужестранца висела легкая кривая сабля в украшенных золотом и слоновой костью ножнах; чеканный эфес сабли был слишком мал для широкой руки этого так пышно разодетого молодого Геракла.

Пурпурная одежда, плотно облегавшая тело, доходила только до колен, оставляя ноги солдата голыми, а от ступней до икр шли переплетенные ремни сандалий, скрепленные вместо пряжки золотой монетой с изображением царствующего императора.

Куда больше подходило к росту молодого варвара другое оружие, с которым не сумел бы справиться человек менее могучего сложения, – алебарда с древком из крепкого вяза, отделанным железом и медью; многочисленные накладки и кольца прочно скрепляли сталь с деревом. Алебарда имела два широких, обращенных в разные стороны лезвия, между которыми торчал острый наконечник. Стальные ее части – лезвия и наконечник – были отполированы до зеркального блеска. Кому-нибудь послабее эта огромная алебарда была бы обременительна, но молодой воин нес ее как пушинку. Впрочем, этим тщательно сделанным и отлично уравновешенным орудием было гораздо легче наносить и отражать удары, чем казалось постороннему зрителю.

Уже то обстоятельство, что воин имел при себе алебарду и саблю, говорило о его иноземном происхождении. Греки, как народ просвещенный, никогда не носили в мирное вре-

мя оружия, за исключением тех, от кого их воинский долг и звание требовали, чтобы они всегда были вооружены. Этих воинов без труда можно было отличить от мирных граждан, и прохожие со страхом и неприязнью говорили друг другу о чужеземце, что он варяг^[16]: так называли варваров, служивших в личной охране императора.

Чтобы возместить недостаток доблести среди своих собственных подданных и обеспечить себя воинами, целиком зависящими от милости императора, греческие государи издавна держали в качестве телохранителей отборную гвардию наемников. Эти наемники, отличавшиеся железной дисциплиной, нерушимой преданностью, физической силой и неукротимой отвагой, были достаточно многочисленны не только для того, чтобы предотвратить любое предательское покушение на особу императора, но и для того, чтобы подавить открытый мятеж, если, конечно, в нем не принимали участие крупные вооруженные силы. Жалованье они получали щедрое, а их положение и утвердившаяся репутация смельчаков обеспечивали немалое уважение со стороны народа, мужество которого в последние несколько веков оценивалось не слишком высоко; будучи чужеземцами и служа в привилегированном воинском отряде, варяги не раз принимали участие в насильственных действиях против населения, и греки, питая к ним неприязнь, в то же время так их боялись, что храбрых чужеземцев мало трогало, любят их или нет жители Константинополя. Их парадное снаряжение

отличалось, как мы уже говорили, богатством, вернее – кричащей роскошью, и только отдаленно напоминало одежду и оружие, которое они носили когда-то в своих родных лесах. Но когда воины этой гвардии несли службу за городом, они снаряжались так, как привыкли на родине; в этом снаряжении, не столь роскошном, но куда более устрашающем, они и выходили на поле боя.

Варяжская гвардия (согласно одному толкованию, слово «варяг» употреблялось как общее понятие «варвар») была создана в ранний период существования империи из жителей северных стран, занимавшихся мореплаванием и пиратством; в неведомые моря их увлекала безмерная страсть к приключениям и небывалое еще в истории презрение к опасностям. «Пиратство, – отмечает с обычной для него выразительностью Гиббон, – было для скандинавских юношей гимнастикой, ремеслом, источником славы и доблестью. Наскучив суровым климатом и тесными границами своей родины, они вставали из-за пиршественного стола, хватали оружие, трубили в рог, поднимались на корабли и уплывали на поиски земель, где можно было чем-нибудь поживиться или надолго обосноваться».

Победы, одержанные во Франции и Англии этими дикими «владыками морей», как их тогда называли, затмили воспоминания о других северных завоевателях, которые задолго до эпохи Комнинов, достигали Константинополя и собственными глазами убеждались в богатстве и слабости греческой

империи.

Одни из них прокладывали себе путь через неведомые просторы России, другие плавали по Средиземному морю на «морских змеях», как именовали они свои пиратские корабли. Императоры, насмерть перепуганные появлением этих бесстрашных жителей ледяного севера, прибегали к обычной политике богатого и не любящего войны народа: оплачивая золотом услуги их мечей, они составляли себе, таким образом, личную гвардию, более отважную, чем прославленная преторианская гвардия в Риме^[17], и, вероятно в силу меньшей численности, более преданную своим новым государям.

Однако в позднейший период императорам стало труднее отыскивать солдат для своей любимой отборной гвардии, ибо северные народы в значительной степени отказались от пиратских набегов и странствий, которые влекли их предков от Эльсинорского пролива в проливы Сеста и Аби-доса^[18]. Поэтому варяжские отряды либо вовсе исчезли бы, либо пополнились менее ценным человеческим материалом, если бы завоевания норманнов на далеком западе не пришли на помощь Комнину, вызвав приток в его гвардию изгнанников, покинувших Британские острова, и в частности Англию. Это были англосаксы, но благодаря путаным географическим представлениям, царившим при константинопольском дворе, их стали называть англодатчанами, ибо их родину смешивали с Туле^[19]; в античные времена под этим названием разумели, собственно, Зееландский и Оркнейский

архипелаги, но, по представлению греков, туда же входили и Дания и Британия. Действительно, язык, на котором говорили эти люди, немногим отличался от языка настоящих варягов, и они тем охотнее приняли это название, что оно напоминало им об их горестной судьбе, поскольку слово «варяг» могло истолковываться и как «изгнанник». Не считая одного-двух высших начальников-греков, которым император в виде исключения доверял, командирами варягов были люди той же национальности, что они сами; благодаря своим многочисленным привилегиям, а также все время вливавшимся в их отряд свежим силам из числа англосаксов, или англо-датчан, прибывавших на восток в качестве крестоносцев, пилигримов или переселенцев, варяжские отряды просуществовали до последних дней греческой империи, сохраняя свое значение и свой родной язык вместе с безусловной верностью и непоколебимым боевым духом, отличавшими их отцов.

Все эти сведения о варягах являются строго историческими и могут быть подтверждены ссылками на византийских историков^[20], большинство которых, как и Виллардуен в своем описании взятия Константинополя франками и венецианцами, неоднократно упоминало об этом избранном и единственном в своем роде отряде англичан, составлявших наемную охранную гвардию при греческих императорах⁴.

⁴ Дюкапж излил поток учености по поводу этого необыкновенного предмета, упомянутого им в «Заметках Виллардуена* о Константинополе при французских

Теперь, объяснив, каким образом наш варяг мог очутиться у Золотых ворот, мы продолжим прерванный рассказ.

Вряд ли приходится удивляться тому, что прохожие по-смастривали на этого воина императорской гвардии с некоторой долей любопытства. Варяги несли такого рода службу, что, разумеется, начальники не поощряли их к частому общению с местным населением, да они и сами понимали, что полицейские обязанности, которые им приходилось выполнять, внушают скорее страх, чем приязнь; знали они и о той зависти, с какой воины других отрядов относились к их высокому жалованью, роскошному снаряжению и непосредственной близости к императору. Поэтому они обычно держались поближе к своим казармам и показывались в других частях города, только если им давали какое-нибудь важное поручение.

При таком положении дел понятно, что столь любопытные люди, как греки, с интересом глазели на чужеземца, который то останавливался, то ходил взад и вперед, словно человек, который не может разыскать нужное ему место или не встретил знакомого, назначившего ему свидание. Изобретательные горожане придумывали по этому поводу тысячи

императорах». Париж, 1637, in folio. С. 196. Можно справиться и в «Истории» Гиббона, т. X. (Примеч. авт.)* Виллардуен Жоффруа (ок. 1164–1212) – французский государственный деятель и полководец, автор хроники «Завоевание Константинополя» – первого исторического сочинения на французском языке. Виллардуен сам принял участие в четвертом Крестовом походе и взятии Константинополя (1204).

всевозможных и самых противоречивых толкований.

– Смотри, да ведь это варяг, – заметил один прохожий другому, – и не иначе как по делам службы. Позволь сказать тебе кое-что на ухо...

– А как ты думаешь, зачем он здесь? – полюбопытствовал его собеседник.

– О боги и богини! Неужели ты полагаешь, что я могу ответить на этот вопрос? Может, он подслушивает, что люди говорят об императоре, – отозвался константинопольский болтун.

– Вряд ли, – заявил вопрошавший. – Эти варяги объясняются только на своем наречии и, следовательно, не годятся для роли шпионов; ведь большинство из них не знает ни слова по-гречески. Нет-нет, не думаю, чтобы император держал в качестве соглядатая человека, не понимающего здешнего языка.

– Но если правда, как утверждают люди, что среди этих варваров есть такие, которые знают множество языков, то, согласись, они замечательно подходят для того, чтобы высматривать и подслушивать; у них есть все данные, необходимые для шпионов, и никому в голову не придет заподозрить их, – настаивал любитель политических сплетен.

– Все может быть, – ответил его собеседник, – и раз уж мы так ясно разглядели лисьи лапы и когти, выглядывающие из-под овечьей – или, если позволишь, скорее, из-под медвежьей – шкуры, то не лучше ли нам потихоньку отправить-

ся по домам, пока нас с тобой не обвинили в оскорблении варяжской гвардии?

Опасение, высказанное вторым собеседником, который был постарше и поискушеннее в делах политики, чем его приятель, заставило обоих спешно ретироваться. Они плотнее запахнули плащи, взялись под руки и, возбужденным шепотом обмениваясь тревожными сведениями, поспешили к своим домам, расположенным в другом, дальнем конце города.

Тем временем солнце склонялось к западу, и тени от стен, башен и арок становились темнее и гуще.

Варягу, видимо, надоело разгуливать по маленькому кругу, в пределах которого он топтался уже больше часа, словно дух, обреченный витать в заколдованном месте, откуда ему не выбраться, пока не будут разрушены чары. Наконец, бросив нетерпеливый взгляд на солнце, которое в яркой короне лучей садилось за купу густо разросшихся кипарисов, варвар выбрал себе место на одной из каменных скамеек, расположенных в тени триумфальной арки Феодосия, положил под бок главное свое оружие – алебарду, укрылся плащом, и, хотя одеяние его так же мало было приспособлено для сна, как ложе, избранное им для отдыха, не прошло и трех минут, как он крепко уснул. Быть может, непреодолимое желание отдохнуть, заставившее его расположиться в столь неподходящем месте, было вызвано длительным стоянием в карауле прошлой ночью. Однако, даже погрузившись в сон, он оста-

вался настороже, словно бодрствуя с закрытыми глазами, и можно сказать, что ни одна сторожевая собака не спит так чутко, как спал наш англосакс у Золотых ворот Константинополя.

Но незнакомец и спящий привлекал к себе не меньше внимания случайных прохожих, чем прежде, когда он слонялся без дела. Под аркой появилось двое. Один из них, по имени Лисимах, тщедушный, подвижной человек, был художником. Все его профессиональное снаряжение состояло из свитка бумаги, который он держал в руке, и мешочка с несколькими мелками и карандашами; будучи знаком с памятниками античного искусства, он разглагольствовал о нем весьма авторитетным тоном, хотя, к сожалению, этот тон далеко не оправдывался его собственным мастерством. Его спутник напоминал отличным сложением молодого варвара, о котором уже шла речь, но черты лица у него были куда более грубые и жесткие; это был хорошо известный в палестре борец по имени Стефан.

– Постоим здесь, мой друг, – обратился к своему спутнику художник, доставая карандаши, – я хочу сделать набросок с этого юного Геракла.

– Я всегда считал, что Геракл был грек, – возразил ему борец, – а это спящее животное – варвар.

В голосе его прозвучала некоторая обида, и художник поторопился смягчить недовольство своего друга, которое он, сам того не желая, вызвал. Стефан, известный под прозви-

щем Кастор^[21], славился как превосходный гимнаст и в какой-то мере покровительствовал маленькому художнику; видимо, благодаря его известности не остался незамеченным и талант его друга.

– Красота и сила, – ответил находчивый художник, – не имеют национальности, и пусть наша муза откажет мне в своей благосклонности, но я наслаждаюсь, сравнивая их проявления у нецивилизованного северного дикаря и у любимого сына просвещенного народа, у человека, который сумел к своим выдающимся природным данным присоединить искусство гимнастической школы; такое сочетание мы видим теперь только в работах Фидия и Праксителя^[22] или в нашем живом образце, воскрешающем античный идеал гимнаста.

– Нет, я признаю, что этот варвар хорошо сложен, – сказал, несколько смягчившись, атлет, – только бедный дикарь, вероятно, ни разу в жизни не растер себе грудь даже каплей масла. Геракл же учредил Истмийские игры...^[23]

– Погоди, – прервал его художник. – Что это он прижимает к себе под своей медвежьей шкурой даже во сне? Уж не дубинка ли это?

– Прочь, прочь отсюда, мой друг! – воскликнул Стефан, приглядевшись к спящему. – Разве ты не видишь, что это варварское оружие? Они ведь сражаются не мечом или копьем, как принято сражаться с людьми из плоти и крови, а молотом и топором, точно им предстоит рубить тела из камня и мышцы из дуба. Я готов прозакладывать свой ве-

нок — увы, из увядшей петрушки, — что он здесь для того, чтобы арестовать какого-нибудь высокопоставленного военачальника, оскорбившего власть. Иначе зачем ему быть столь грозно вооруженным?... Прочь, прочь отсюда, мой добрый Лисимах, будем уважать сон этого медведя.

С этими словами чемпион палестры поторопился скрыться, проявив гораздо меньше уверенности в себе, чем можно было ожидать при его росте и силе.

Наступал вечер, тени кипарисов становились все гуще, прохожие попадались все реже и шли не останавливаясь. Две женщины-простолюдинки обратили внимание на спящего.

— Святая Мария! — сказала одна из них. — Он точь-в-точь как тот храбрый принц из восточной сказки^[24], которого джинн унес из свадебных покоев в Египте и спящего бросил у ворот Дамаска. Разбужу-ка я этого бедного ягненка, а не то он простудится от ночной росы.

— Простудится? — отозвалась вторая, на вид постарше, с озлобленным лицом. — Роса причинит ему не больше вреда, чем холодная вода Кидна^[25] дикому лебедю. Ягненок! Ты уж скажешь! Да это скорее волк, или медведь, или на худой конец варяг, и ни одна порядочная женщина не станет разговаривать с таким неотесанным варваром. Вот я тебе расскажу, что со мной сделал один из этих англодатчан...

И она увлекла свою подругу, которая последовала за ней с явной неохотой, делая вид, что слушает ее болтовню, но при этом все время оглядываясь на спящего.

Солнце зашло, и сумерки, которые в тропических странах столь коротки – одна из немногих привилегий стран с более умеренным климатом как раз в том и состоит, что там этот нежный и спокойный свет дольше не гаснет, – уступили место темноте; это послужило сигналом для городской стражи запереть створчатые половины Золотых ворот и закрыть на засов калитку, через которую попадали теперь в город те, кого дела допоздна задержали за стенами Константинополя и, уж само собой разумеется, кто готов был расплатиться какой-нибудь мелкой монетой. Варяг, распростертый на скамье и, видимо, спящий непробудным сном, не мог не привлечь внимания охраны ворот, где нес службу сильный отряд регулярных греческих войск.

– Клянусь Кастором и Поллуксом! – воскликнул центурион, ибо греки по-прежнему клялись именами античных богов и героев, хотя уже не поклонялись им, точно так же, впрочем, как они сохраняли воинские звания, существовавшие еще в те времена, когда «непоколебимые римляне сотрясали мир»^[26], хотя давно уже переродились и забыли свои древние доблести. – Клянусь Кастором и Поллуксом, друзья, хотя эти ворота называются Золотыми, золота они нам не приносят, но мы сами будем виноваты, если не сумеем собрать добрую жатву серебром. Золотой век был самый древний и славный, не спорю, однако в наше ничтожное время не так уж плохо, если нам блеснет и менее благородный металл.

– Мы не заслуживали бы чести служить под командова-

нием благородного центуриона Гарпакса, – отозвался один из стражников, мусульманин, судя по бритой голове и единственному пучку волос на макушке, – если бы не считали серебро достойным того, чтобы побеспокоить себя ради него, коли уж невозможно разжиться золотом: мы и цвет-то его позабыли – столько месяцев нам ничего не перепало ни от казны, ни от прохожих.

– А то серебро, о котором я говорю, ты увидишь собственными глазами и услышишь, как оно зазвенит, падая в мешок, где хранится наша общая казна.

– Ты хочешь сказать, доблестный начальник, где когда-то хранилась, ибо, насколько я знаю, сейчас в этом мешке нет ничего, кроме нескольких жалких оболов, на которые можно купить только маринованных овощей да соленой рыбы – надо же чем-нибудь закусить виноградное пойло, что нам выдают. Я готов уступить свою долю дьяволу, если кто-нибудь обнаружит в этом мешке или на блюде признаки века более богатого, нежели бронзовый^[27].

– Будь у нас еще меньше звонкой монеты, – ответил центурион, – все равно я пополню нашу казну. А ну-ка подойдите ближе к калитке. Не забудьте, мы императорская стража, или стража императорской столицы, – это одно и то же, так что не зевайте, пусть никто не проскользнет мимо нас незамеченным. А теперь, когда каждый из вас смотрит в оба, я объясню вам... Впрочем, одну минуту... – прервал свою речь доблестный центурион. – Все ли здесь стоят один за друго-

го? Все ли знают старинный и похвальный обычай городской стражи – сохранять в тайне все, что касается прибылей и дел нашего поста, помогать и поддерживать друг друга, ничего не разбалтывая и никого не предавая?

– Ты сегодня что-то слишком подозрителен, – ответил ему стражник.

– Мне кажется, мы поддерживали тебя и не болтали языком в делах посерьезнее. Забыл ты, что ли, как здесь проходил торговец драгоценными камнями?.. Это был не золотой и не серебряный век, а самый что ни на есть алмазный...

– Помолчи, Измаил, мой добрый язычник, – прервал его центурион. – Кстати сказать, слава богу, что у всех у нас разная вера – надо надеяться, хоть одна истинная среди них да найдется. Так вот, помолчи, говорю я, незачем разбалтывать старые тайны в доказательство того, что ты умеешь хранить новые. Иди сюда и посмотри сквозь калитку на каменную скамью вон там, в тени большого портика. Скажи-ка мне, старина, что ты там видишь?

– Спящего человека, – ответил Измаил. – И, клянусь небом, насколько я могу разобрать при свете луны, это один из тех варваров, заморских псов, которых в таком множестве набрал себе император.

– И ты, умная голова, видишь, что он спит, и не можешь придумать, как повыгоднее воспользоваться этим?

– Почему не могу? – возразил Измаил. – Хотя они не только варвары, а еще и языческие псы, но, в отличие от нас, му-

сульман, и от назарян^[28], им платят очень хорошо. Этот малый напился и не смог вовремя найти дорогу к своим казармам. Его ждет жестокое наказание, если мы не согласимся пропустить его, а чтобы уговорить нас, ему придется опустошить свой пояс.

– Да, это уж по меньшей мере, – поддержали его остальные стражники, стараясь говорить потише, хотя в голосах их звучало нетерпение.

– И это все, что вы собираетесь извлечь из такого случая? – с презрением спросил Гарпакс. – Нет, друзья, если этот чужеземный зверь спасется от нас, то по крайней мере он должен оставить нам свою шерсть. Неужто вы не видите, как сверкают его шлем и нагрудник? Заранее могу сказать, что они из настоящего серебра, хотя, может быть, и из тонкого. Вот они, серебряные копи, о которых я говорил, и они обогатят ловкие руки, способные поработать.

– Но ведь этот варвар, как ты его называешь, – воин императора, – несмело произнес молодой грек, недавно вступивший в отряд и незнакомый еще с его обычаями. – Если нас уличат в том, что мы отобрали у него оружие, то по заслугам накажут, как военных преступников.

– Нет, вы только послушайте, как этот новый Ликург^[29] учит нас нашему долгу! – воскликнул центурион. – Запомни, мальчишка, что, во-первых, столичная стража не может совершить преступление, а во-вторых, никто не может уличить ее в этом. Представь себе, что нам попался отбившийся

от своих варвар, варяг, вроде этого спящего, или франк, или какой другой из этих иноземцев, чье имя и произнести-то невозможно, хотя, к стыду нашему, они вооружены и одеты, словно истые римские воины; так неужели же мы, кому доверено защищать столь важный пост, пропустим такого подозрительного человека, который, возможно, злоумышляет против Золотых ворот и золотых сердец, охраняющих их, — ведь ворота могут захватить, а нам попросту перерезать глотки?

— Если он кажется вам опасным человеком, — ответил новичок, — не пропускайте его совсем. Что касается меня, то я не стал бы его бояться, не будь при нем этой огромной обоюдоострой алебарды, поблескивающей из-под его плаща куда более страшно, чем комета, которая предвещает, по словам астрологов, такие удивительные события.

— Ну вот, выходит, мы во всем и согласны, — сказал Гарпакс, — сейчас ты говоришь как скромный и толковый юноша. Можешь мне поверить, государство ничего не потеряет, если кто-нибудь ограбит этого дикаря. У каждого из них есть доспехи, украшенные золотом, серебром, инкрустациями и костью, как подобает тем, кто несет службу во дворце самого императора, и, кроме того, есть боевое снаряжение из трижды закаленной стали, прочное, тяжелое, перед которым нельзя устоять. Если мы отберем у этого подозрительного молодчика серебряный шлем и кирасу, мы тем самым заставим его облачиться в подходящие ему доспехи, и

ты увидишь, что он пойдет в бой с тем оружием, какое ему пристало.

– Так-то оно так, – возразил новичок, – только из твоих рассуждений выходит, что, мол, сегодня мы вправе отнять у него снаряжение, но если завтра варяг докажет, что он человек неподозрительный, нам придется все вернуть, да еще поклониться при этом. А у меня есть такая мыслишка, что неплохо бы отобрать у него все это насовсем, в наше общее пользование, только вот не знаю, как это сделать.

– Конечно, надо отобрать насовсем, – сказал Гарпакс, – ибо еще со времен замечательного центуриона Сизифа^[30] установлено правило, по которому всякая контрабанда, всякое недозволенное оружие и прочие подозрительные товары, что пытаются пронести в город ночью, поступают в пользу воинов стражи; а уж если император решит, что товары или оружие отобраны незаконно, то, надо думать, он достаточно богат, чтобы возместить их стоимость потерпевшему.

– И все-таки, все-таки, – сказал упомянутый молодой грек, по имени Себаст из Митилены^[31], – если император узнает...

– Ты просто осел! – воскликнул Гарпакс. – Не может он узнать, будь у него столько глаз, сколько у Аргуса^[32] на хвосте. Нас здесь двенадцать человек, и, как испокон веков заведено у городской стражи, все мы дали клятву не подводить друг друга. Допустим, этот варвар, даже если он что-нибудь вспомнит – в чем я очень сомневаюсь, так как место,

выбранное им для отдыха, говорит о его давнишней дружбе с кувшином вина, – и станет рассказывать невероятную историю о том, как он потерял оружие, а мы, друзья мои, – при этом центурион оглядел своих соратников, – будем упорно все отрицать – я полагаю, на это у нас хватит храбрости, – то кому поверят? Конечно, страже!

– Вот уж нет! – ответил Себаст. – Я родился далеко отсюда, но даже до острова Митилена доходили слухи, будто воины городской стражи Константинополя достигли такого совершенства во лжи, что клятва одного варвара перевесит клятвы целого отряда христиан, тем более, что в нем не одни христиане, – например, этот смуглый с пучком волос на голове.

– Даже если так, – сказал с мрачным и зловещим видом центурион, – есть другой способ отнять у него оружие и при этом не попасться.

Глядя в упор на своего командира, Себаст дотронулся до висевшего у него сбоку восточного кинжала, словно спрашивая, правильно ли он понял. Центурион кивнул головой в знак согласия.

– Хотя я и молод, – сказал Себаст, – но мне уже довелось пять лет быть морским пиратом, а потом в течение трех лет заниматься грабежом в горах, и я ни разу не слышал, чтобы в подобных случаях, когда нужно действовать не мешкая, мужчина побоялся принять решение, единственно достойное храброго человека.

Гарпакс пожал стражнику руку в знак того, что разделяет его решимость, но, когда он заговорил, голос его слегка дрожал.

– Как же мы с ним поступим? – спросил он Себаста, который, хотя и был самым младшим среди стражников, поднялся в его глазах на недостижимую высоту.

– Да как угодно, – отозвался митиленец, – вон лежат луки и стрелы, и если никто, кроме меня, не умеет обращаться с ними...

– У нас, – сказал центурион, – это оружие не в ходу.

– Нечего сказать, хорошие вы стражи! – Молодой воин разразился грубым хохотом, в котором было что-то оскорбительное. – Что ж, пусть будет так. Я стреляю не хуже скифа, – продолжал он, – только кивните мне, и первой же стрелой я пробью ему череп, а вторую всажу в сердце.

– Bravo, мой благородный друг! – сказал Гарпакс с притворным восхищением, однако приглушив голос, словно уважая сон варяга. – Таковы были разбойники древности, все эти Диомеды, Коринеты, Синны, Скироны, Прокрусты^[33], и понадобились полубоги, чтобы свершить над ними то, что столь ошибочно называют правосудием. Их потомки, равные им по смелости, останутся хозяевами на материке и островах Греции, пока на земле вновь не появятся Гераклы и Тесеи. И все-таки стрелять не надо, мой доблестный Себаст, здесь надо действовать наверняка, мой бесценный митиленец: ведь ты можешь только ранить его, а не убить.

– Этого я и сам не хотел бы, – сказал Себаст, вновь раздражаясь грубым, кудактающим смехом, который начал раздражать центуриона, хотя вряд ли он мог объяснить, почему этот смех так ему неприятен.

«Если я не позабочусь о себе, – подумал он, – так, пожалуй, у нас в отряде окажутся два центуриона вместо одного. Этот митиленец – или кто он там, дьявол его знает, – легко меня обскачет. За ним нужен глаз да глаз».

Вслух же он властно сказал:

– Ну что ж, действуй, молодой человек; нехорошо осаживать начинающего. Если ты не врешь и действительно был разбойником в лесах и на море, так сам знаешь, что нужно делать, дабы не оставлять следов: вон лежит варяг, пьяный или спящий – этого уж мы не знаем, да оно и не важно, ибо ты должен расправиться с ним в любом случае.

– Значит, ты предоставляешь мне право заколоть спящего или пьяного человека, высокоблагородный центурион? – спросил грек. – Может, тебе самому хочется заняться этим? – продолжал он с иронией в голосе.

– Делай что приказано, приятель, – буркнул Гарпакс, показывая ему на лесенку внутри башни, которая вела со стены к сводчатому входу под портиком. – До чего бесшумно движется, прямо как кошка, – пробормотал он, когда стражник стал спускаться, чтобы совершить преступление, которое центурион по долгу службы обязан был предотвратить. – Этому петушку пора отрезать гребешок, не то он станет пра-

вить в нашем курятнике. Посмотрим, какая у него рука – такая же решительная, как язык, или нет, а тогда будет, ясно, что с ним делать.

Пока Гарпакс бормотал сквозь зубы, обращаясь скорее к самому себе, чем к кому-либо из своих подчиненных, митиленец показался из-под арки и на цыпочках, но очень быстро направился к варягу, двигаясь необыкновенно проворно и вместе с тем бесшумно.

Кинжал, который он успел обнажить, пока спускался, был отведен назад, чтобы его не было видно, и поблескивал в лунном свете. На секунду убийца застыл над спящим, словно для того, чтобы лучше разглядеть, в каком месте злополучная кираса обнажает грудь, которую она должна была защищать, но в тот миг, когда он собирался вонзить кинжал, варяг молниеносно вскочил, алебардой отбросил вверх руку убийцы и, избегнув опасности, в свою очередь нанес греку такой мощный удар, какому Себаста не обучали в гимнастической школе; у митиленца не хватило дыхания даже на то, чтобы позвать на помощь своих товарищей с крепостной стены. Они видели все, что случилось: как варвар наступил ногой на их товарища и занес над ним алебарду, чей свист зловеще отдался под старинной аркой; видели, как он на мгновение приостановился с занесенным оружием перед тем, как обрушить на врага последний удар. Между стражниками поднялась суматоха, словно они намеревались броситься на помощь Себасту, без особой, впрочем, стремитель-

ности, но Гарпакс громким шепотом скомандовал им не двигаться.

– Все по местам, – прошипел он, – что бы там ни случилось. Сюда идет начальник гвардии; если митиленец убит этим дикарем – а я полагаю, что убит, ибо он не шевелит ни рукой, ни ногой, – то нашей тайны никто не узнает. Если же, друзья, он остался жив, будьте немые как рыбы – он один, а нас двенадцать. Мы ничего не знали о его намерении, кроме того, что он пошел посмотреть, почему варвар спит так близко от сторожевого поста.

Пока центурион деловито растолковывал товарищам по караулу, как им следует вести себя, внизу показался рослый и статный воин; на нем было богатое оружие и шлем, высокий гребень которого засверкал, когда его владелец вышел из-под арки на лунный свет. Среди стражников, стоявших наверху, пробежал шепот.

– Задвиньте засов, закройте калитку, – приказал центурион, – а уж с митиленцем пусть будет что будет: мы погибли, если признаем, что он один из наших. Это идет сам начальник варяжской гвардии, главный телохранитель императора.

– Эй, Хирвард, – обратился к варягу пришедший на ломаном лингва-франка, на котором обычно объяснялись варвары, служившие в императорской гвардии, – ты что, поймал ночного сокола?

– Клянусь святым Георгием^[34], ты прав, – отозвался варяг, – только у меня на родине его посчитали бы всего лишь

коршуном.

– А кто он? – спросил начальник.

– Это он сам тебе расскажет, – ответил варяг, – когда я перестану сжимать ему горло.

– Отпусти его, – последовал приказ.

Англичанин повиновался, но как только митиленец почувствовал свободу, он с неожиданной ловкостью выскочил из-под арки и побежал, укрываясь за вычурными украшениями, которыми по воле зодчего изобиловали ворота снаружи; он вертелся вокруг опор и выступов, преследуемый по пятам варягом, которому его оружие мешало догнать быстрого грека, укрывавшегося от своего преследователя то в одном темном углу, то в другом. Вновь пришедший от души смеялся, глядя, как эти две фигуры, неожиданно появляясь и исчезая подобно теням, метались друг за другом вокруг арки Феодосия.

– Клянусь Гераклом, можно подумать, что это Ахилл гонится за Гектором вокруг стен Илиона^[35], – произнес он, – только на этот раз Пелиду, пожалуй, не настигнуть сына Приама. Эй, ты, рожденный богиней, сын белоногой Фетиды! Впрочем, бедному дикарю непонятны эти сравнения. Эй, Хирвард! Говорю тебе, остановись! Уж свое-то варварское имя ты знаешь.

Последние слова он пробормотал себе под нос, затем опять возвысил голос:

– Побереги свое дыхание, добрый Хирвард! Оно тебе еще

понадобится сегодня ночью.

– Стоило тебе приказать, – ответил варяг, нехотя приближаясь к командиру и с трудом переводя дух, как человек, бежавший из последних сил, – и уж я не упустил бы его, загнал бы, как борзая зайца! Не будь на мне этих дурацких доспехов, которые только обременяют, вместо того чтобы защищать, мне не потребовалось бы и двух прыжков, чтобы схватить его и сдвинуть ему глотку.

– Оставь его в покое, – сказал воин, который действительно был главным телохранителем, или, как его называли, аколитом, ибо обязанностью этого облеченного высокими полномочиями начальника варяжской гвардии было постоянно сопровождать особу императора. – Давай лучше посмотрим, каким образом нам вернуться в город, потому что, если, как я подозреваю, эту шутку сыграл с тобой один из стражников, его товарищи могут не захотеть добровольно пропустить нас.

– А разве для тебя не дело чести до конца расследовать такое нарушение порядка?

– Помолчи, мой простодушный дикарь! Я часто говорил тебе, невежественный Хирвард, что мозги тех, кто явился сюда с севера, из холодной и грязной Беотии^[36], скорее вынесут двадцать ударов кузнечным молотом, чем изобретут какой-нибудь ловкий и хитроумный ход. Слушай меня внимательно, Хирвард. Конечно, я хорошо понимаю, что разоблачать тайны греческой политики перед столь неискушенным варваром, как ты, все равно что метать бисер перед свинья-

ми, а Святое Писание предостерегает нас от этого; тем не менее, поскольку у тебя такое доброе и верное сердце, какое нечасто сыщется даже среди моих варягов, я воспользуюсь случаем – ты ведь должен сегодня сопровождать меня – и познакомлю тебя с некоторыми сторонами этой политики. Я сам, главный телохранитель, начальник над всеми варягами, возведенный их непобедимыми алебардами в сан доблестного из доблестных, руководствуюсь ею, несмотря на то что у меня есть все возможности вести свою галеру против дворцовых течений с помощью одних лишь весел и парусов. Да, я снисхожу до политики, хотя ни один человек при императорском дворе, этом средоточии блистательных умов, не смог бы, пустив в ход открытую силу, добиться того, чего легко достиг бы я. Что ты по этому поводу думаешь, мой добрый дикарь?

– Я знаю одно, – ответил варяг, следуя за своим начальником в полтора шагах сзади, как положено и в наши дни идти вестовому за своим офицером, – мне было бы жаль ломать себе голову над тем, что можно решить в два счета с помощью рук.

– Ну не прав ли я был? – сказал главный телохранитель, который уже несколько минут шагал вдоль наружной, залитой лунным светом городской стены, внимательно вглядываясь в нее, словно не рассчитывая больше на то, что Золотые ворота открыты, и отыскивая другой вход. – Вот видишь, чем набита твоя голова вместо мозгов! По сравнению с головами

ваши руки – настоящее совершенство. Слушай же меня, самое невежественное из всех животных и именно поэтому – надежнейший из наперсников и храбрейший из воинов: я открою тебе секрет нашей сегодняшней ночной прогулки, хотя не уверен, что ты все поймешь даже после моих объяснений.

– Мой долг стараться понять твою доблесть, – ответил ваярг, – вернее – твою политику, раз уж ты так снисходительно стараешься растолковать ее мне. Что касается твоей доблести, – добавил он, – то хорош бы я был, если бы не знал ее вдоль и поперек.

Греческий военачальник слегка покраснел, однако голос его не дрогнул:

– Это правда, мой добрый Хирвард, мы видели друг друга в бою.

Тут Хирвард не сдержался и легонько кашлянул.

Грамматикам того времени^[37], столь изощренным в искусстве разгадывать смысл интонации, этот кашель не показался бы панегириком храбрости грека. Действительно, несмотря на то, что командир на протяжении всей их беседы тоном своим то и дело подчеркивал свое высокое положение и превосходство, в этом тоне чувствовалось явное уважение к собеседнику, как к человеку, который в минуту опасности во многих отношениях может проявить себя более храбрым воином, чем он сам. С другой стороны, хотя могучий северный воин отвечал своему начальнику, соблюдая все правила дисциплины и этикета, беседа их порой напоминала раз-

говор между невежественным франтом офицером и опытным сержантом того же полка, – речь идет, разумеется, о том времени, когда английская армия еще не была перестроена герцогом Йоркским^[38]. В каждом слове северянина звучало чувство собственного превосходства, прикрытое внешней почтительностью, и начальник молчаливо признавал это превосходство.

– Ты позволишь мне, мой простодушный друг, – продолжал главный телохранитель прежним тоном, – вкратце ознакомить тебя с основным принципом политики, который господствует при константинопольском дворе. Дело в том, что милость императора, – тут он приподнял шлем, а варяг сделал вид, что повторяет его движение, – который (да будет благословенна земля, по коей он ступает!) является не менее животворным началом для своих подданных, чем солнце – для всего рода человеческого...

– Я уже слышал что-то в этом роде от наших ораторов, – заметил варяг.

– Они обязаны поучать вас, – ответил начальник, – и я полагаю, что священники, произнося свои проповеди, также не забывают наставлять моих варягов в верности и преданности императору.

– Нет, не забывают, только мы, изгнанники, сами знаем свой долг.

– Видит бог, я не сомневаюсь в этом, – сказал главный телохранитель. – Просто хочу, чтобы ты понял, мой дорогой

Хирвард, что есть такие насекомые – впрочем, в вашем суровом и мрачном климате их, быть может, и не существует, – которые рождаются с первыми проблесками света и гибнут с заходом солнца. Мы называем их эфемерами, поскольку они живут всего лишь один день. Такова же и участь придворного фаворита, который живет в лучах улыбок священной особы императора. Счастлив тот, кто попал в милость с той минуты, когда император, подобно светилу, появившемуся из-за горизонта, впервые взошел на трон, кто потом сверкал отраженным светом императорской славы, кто сохранил свое место, когда эта слава достигла зенита, кто исчез и умер вместе с последним лучом императорского сияния.

– Твоя доблесть, – прервал его островитянин, – говорит столь высоким слогом, что моим северным мозгам трудно все это понять. Только, по-моему, чем избирать такую долю – жить до захода солнца, так уж я, будь я насекомым, предпочел бы родиться мошкой и просуществовать два-три часа в темноте.

– Таковы, Хирвард, низменные желания людей ничтожных и обреченных на жизнь ничем не выдающуюся, – с напускным высокомерием произнес главный телохранитель, – мы же, люди, отмеченные печатью высоких достоинств, составляющие ближайшее, избраннейшее окружение императора Алексея, где он является центром, мы с женской ревностью следим за тем, как он раздает свои милости, не упуская возможности, то объединяясь, то выступая друг против дру-

га, выдвинуться и удостоиться его ясного взора.

– Пожалуй, я понял, о чем ты говоришь, – сказал Хирвард, – хотя жить такой жизнью, полной интриг... Но, конечно, это к делу не относится...

– Конечно, не относится, мой добрый Хирвард, – ответил главный телохранитель, – и счастье твое, что тебя не тянет к такой жизни. И все же я видел варваров, которые достигали высоких постов при императорском дворе, хотя им и не хватало гибкости или, скажем, эластичности, не хватало счастливой способности применяться к обстоятельствам... Так вот, повторяю, я знал представителей варварских племен – большей частью это были люди, с детства воспитанные при дворе, – которые при небольшой гибкости обладали столь непреклонной силой характера, что, будучи не слишком способными использовать обстоятельства, сами с необыкновенным талантом эти обстоятельства создавали. Однако довольно сравнений. Итак, тебе должно быть понятно, что в этой погоне за славой, то есть за монаршей милостью, приближенные благословенного императорского двора стараются всячески выделиться и показать государю, что каждый из них не только превосходно справляется со своими обязанностями, но и может в случае необходимости заменить других.

– Да, теперь мне все понятно, – сказал англосакс. – Выходит, что высокопоставленные придворные, военачальники и помощники государственных деятелей постоянно заняты не тем, чтобы помогать друг другу, а тем, чтобы шпионить за

своим соседом?

– Совершенно верно, – ответил начальник, – и не далее как несколько дней назад я получил бесспорное доказательство этому. Любой придворный, как бы глуп он ни был, знает, что великий протоспафарий^[39] – таков титул главнокомандующего всеми военными силами империи, – тебе это, разумеется, известно, – так вот, он ненавидит меня, ибо я являюсь начальником грозных варягов, которые заслуженно пользуются привилегией не подчиняться его беспредельной власти, распространяющейся на все войсковые соединения, хотя Никанору^[40], несмотря на его столь победоносно звучащее имя, власть эта не больше подходит, чем седло – волу.

– Вот как! – воскликнул варяг. – Значит, протоспафарий хочет командовать благородными изгнанниками? Клянусь знаменем красного дракона, под которым мы сражаемся и умираем, мы не станем подчиняться ни единой живой душе, кроме самого Алексея Комнина и наших начальников!

– Это ты сказал правильно и смело, мой добрый Хирвард, – заметил главный телохранитель. – Но, и предаваясь справедливому негодованию, смотри не забывай при упоминании имени благословенного императора прикладывать руку к шлему и перечислять его титулы.

– Твоя рука будет подниматься достаточно часто и достаточно высоко, когда этого потребует служба императору, – заявил северянин.

– В этом я могу поклясться, – сказал Ахилл Татий, началь-

ник варяжской императорской гвардии, решив, что сейчас неподходящее время для того, чтобы требовать точного соблюдения этикета, хотя знание этого этикета он считал своей важнейшей воинской заслугой. – И все-таки, сын мой, если бы не постоянная бдительность вашего начальника, благородные варяги были бы попраны и растворились бы в общей массе армии, среди всех этих языческих когорт гуннов, скифов или предавшихся нам нечестивых турок в тюрбанах. И теперь вашему начальнику угрожает опасность именно из-за того, что он требует, чтобы его алебардщиков оценивали выше, чем жалких скифских копьеносцев и вооруженных дротиками мавров, чье оружие годится только для детских игр.

– От любой опасности, – сказал воин, доверительно приподвигаясь к Ахиллу Татию, – тебя защитят наши алебарды!

– Разве я когда-нибудь сомневался в этом? – сказал Ахилл Татий. – Но сейчас главный телохранитель благословенного монарха доверяет свою безопасность тебе одному.

– Я сделаю все, что подобает воину, – ответил Хирвард. – Решай, как действовать дальше, и не забудь, что я один стою двух любых воинов из других отрядов императора.

– Слушай дальше, мой храбрый друг, – продолжал Ахилл Татий. – Этот Никанор осмелился бросить тень на нашу благородную гвардию, обвинив ее воинов – о боги и богини! – в том, что на поле боя они похитили и – что еще святотатственнее! – выпили драгоценное вино, приготовленное для самого святейшего императора. В присутствии священной особы

императора я, как ты сам понимаешь, не мог промолчать...

– Понимаю, ты хочешь загнать ему эту ложь в его наглую глотку! – воскликнул варяг. – Ты назначил ему встречу где-нибудь в окрестностях и взял с собой своего ничтожно-го подчиненного Хирварда из Гемптона^[41], который за такую честь будет твоим рабом до конца дней! Только почему ты не сказал мне, чтобы я взял с собой обычное оружие? Однако со мной алебарда и...

Тут Ахилл Татий улучил момент и прервал своего спутника, встревоженный его слишком воинственным тоном.

– Успокойся, сын мой, – сказал он, – и говори потише. Ты сделал неправильный вывод, мой доблестный Хирвард. Действительно, когда ты рядом со мной, я не побоюсь сразиться с пятью такими воинами, как Никанор, но поединки запрещены законом нашей возлюбленной Богом империи и неуютны трижды прославленному монарху, правящему ею. Тебя испортили, мой храбрый воин, хвастливые рассказы франков – эти истории, которые с каждым днем все больше распространяются по Константинополю.

– Никогда по доброй воле я ни в чем не стану подражать тем, кого ты называешь франками, а мы – норманнами, – сердито ответил варяг.

– Не горячись, – сказал Татий, продолжая идти вдоль стены. – Лучше вдумайся в существо дела, и тогда тебе станет ясно, что обычай, который франки именуют дуэлью, не может существовать в стране, где господствуют цивилизация

и здравый смысл, не говоря уже о нашем государстве, удостоенном такого монарха, как несравненный Алексей Комнин. Два царедворца или два военачальника спорят в присутствии высокочтимой особы императора. Они в чем-то не согласны между собой. И вдруг, вместо того чтобы каждому отстаивать свою точку зрения, выдвигая аргументы или доказательства, представь, что они обратятся к обычаю этих варваров франков! «Ты наглый лжец!» – скажет один. «Нет, это ты насквозь пропитан гнусной ложью!» – ответит другой, и тут же оба начнут выбирать место для поединка. Каждый клянется, что правда на его стороне, хотя, вероятно, оба недостаточно знают, в чем она заключается. Один из них, возможно – наиболее храбрый, честный и добродетельный, главный телохранитель императора и отец своих варягов, остается лежать бездыханным на земле – смерть ведь никого не щадит, мой верный спутник, – а другой возвращается и процветает при дворе, хотя, если бы дело было расследовано с точки зрения здравого смысла и справедливости, то победителя, как его величают, должны были бы послать на виселицу. Вот что такое спор, решенный в «честном поединке», как ты изволишь называть это, друг мой Хирвард.

– Если на то пошло, твоя доблесть, то согласен, в твоих словах есть доля правды, – ответил варвар, – но меня легче убедить в том, что эта лунная ночь черна, как пасть волка, чем заставить спокойно слушать, как меня обзывают лжецом. Нет, я тут же вгоню эти слова обидчику в глотку остри-

ем моей алебарды! Обвинить человека во лжи – это все равно что ударить его по лицу, а кто не отвечает ударом на удар, тот просто жалкий раб или выючное животное.

– Опять ты за свое! – сказал Ахилл Татий. – Неужели я так никогда и не внушу вам, что ваши варварские обычаи толкают вас, самых дисциплинированных воинов божественного императора, на кровавые ссоры и вражду, которые...

– Господин начальник, – угрюмо отозвался варяг, – послушай моего совета, принимай варягов такими, каковы они есть; поверь мне, если ты приучишь их сносить оскорбления, терпеть ложь и не отвечать на удары, то очень скоро убедишься, что при самой лучшей дисциплине они не будут стоять дневной порции соли, которую расходует на них святейший император, если таков его титул. Скажу тебе больше, доблестный начальник: варяги вряд ли будут очень благодарны своему командиру, если узнают, что при нем их обозвали грабителями, пьяницами и еще не знаю как, а он тут же на месте не опроверг этих обвинений.

«Да, – подумал Татий, – если бы я не умел приноравливаться к причудам моих варваров, дело кончилось бы ссорой с этими неукротимыми островитянами: напрасно император думает, что их так легко держать в повиновении. Надо немедленно уладить эту размолвку».

– Мой верный воин, – примирительно сказал он саксу, – точно так же, как вы полагаете себя обязанными возмущаться, когда вас обвиняют во лжи, мы, римляне, в соответствии

с обычаями наших предков, считаем для себя делом чести говорить только правду, и, поскольку все, что сказал Никанор, чистейшая правда, я поступил бы бесчестно, упрекнув его во лжи...

– Как! Выходит, что мы, варяги, действительно воры, пьяницы и тому подобное? – еще более раздраженно, чем раньше, спросил Хирвард.

– Конечно, нет, если говорить по существу, – ответил Ахилл Татий, – однако вы дали серьезный повод для этой выдумки.

– Где и когда? – спросил англосакс.

– Помнишь ли ты, – сказал начальник, – тот длинный переход от ущелья к Лаодикие^[42], когда варяги разгромили полчища турок и отбили захваченный ими обоз с императорским имуществом? Ты отлично знаешь, что вы наделали в тот день, – я имею в виду то, как вы утолили тогда свою жажду.

– У меня есть все основания помнить, – ответил Хирвард из Гемптона, – мы чуть не задохлись от пыли и усталости, а хуже всего было то, что нам все время приходилось отбивать атаки с тыла; тут как раз нам в руки попало несколько бочек с вином, оставленных на разбитых повозках, и вино это исчезло в наших глотках так быстро, точно то был лучший эль из Саутгемптона.

– Несчастные! – воскликнул главный телохранитель. – Неужели вы не заметили, что эти бочки были опечатаны лич-

ной и неприкосновенной печатью трижды превосходительного главного кравчего и предназначены для священных уст его императорского величества?

– Клянусь добрым святым Георгием нашей веселой Англии, который стоит дюжины ваших святых Георгиев Каппадокийских^[43], вот уж что меня мало заботило! – ответил Хирвард. – Я только помню, что и твоя доблесть сделала хороший глоток из моего шлема – не из этой серебряной игрушки, а из стального шлема, который вдвое больше. И доказательство этому есть: сперва ты приказал отступить, а как отмыл глотку от пыли, будто сразу стал другим человеком и крикнул нам: «Грудью встретим новый удар врага, мои храбрые и стойкие сыны Британии!»

– О, – ответил Ахилл Татий, – в бою я не знаю удержу. Но в одном ты ошибся, добрый Хирвард; вино, которым я освежился после изнурительной схватки с врагом, было не то, что предназначалось для собственных уст его священного величества, а совсем другое, второго сорта, оставленное главным кравчим для самого себя, и я, как один из высших военачальников, имел законное право попробовать его. Однако дело все равно чрезвычайно неприятное.

– Клянусь жизнью, – ответил Хирвард, – я не вижу большого греха в том, что, умирая от жажды, мы выпили это вино.

– Ничего, мой благородный друг, не унывай, – сказал Ахилл; поспешно оправдав себя, он сделал вид, что не за-

мечает легкомыслия, с каким варяг отнесся к своему проступку. – Его императорское величество в своей неизреченной милости не считает преступниками тех, кто участвовал в этой неблагоразумной проделке. Более того – он упрекнул протоспафария за то, что тот выступил с таким обвинением, и, напомнив о неразберихе и смятении, царивших в тот трудный день, сказал: «Я сам почувствовал себя лучше в этом ужасном пекле, когда промочил себе горло глотком ячменного вина, которое обычно пьют мои бедные варяги; да, я с удовольствием выпил за их здоровье, тем более что если бы не они, это был бы последний глоток в моей жизни. Слава их мужеству, хотя они в свою очередь выдули мое вино!» После этого он отвернулся, словно говоря: «С меня довольно всех этих сплетен и козней, направленных против Ахилла Татия и его храбрых варягов».

– Да благословит Господь его благородное сердце за такие слова! – воскликнул Хирвард, и на этот раз в его тоне было больше искренней сердечности, чем полагающегося почтения. – Я буду пить за его здоровье, чем бы мне ни пришлось в следующий раз утолять жажду – элем, вином или водой из канавы.

– Хорошо сказано, только не старайся перекрычать самого себя и не забывай прикладывать руку к шлему, когда называешь имя императора или думаешь о нем. Ну так вот, Хирвард, получив такое преимущество и понимая, что, отбив атаку, всегда следует немедленно переходить в наступ-

ление, я возложил на протоспафария Никанора ответственность за грабежи, которые происходят у Золотых ворот и у других входов в город: ведь совсем недавно был похищен и убит купец, который вез драгоценности, принадлежавшие патриарху.

– В самом деле? – воскликнул варяг. – И что же сказал Алек... то есть святейший император, когда он услышал о таких подвигах городской стражи? Хотя ведь он сам, как говорят у меня на родине, поставил лису стеречь гусей.

– Может, так оно и есть, – ответил Ахилл, – но наш государь – тонкий политик и не станет преследовать этих вероломных стражей или их начальника протоспафария, не имея решающих доказательств. Поэтому его святейшее величество поручил мне добыть с твоей помощью обстоятельные улики.

– Я добыл бы их в две минуты, не прикажи ты мне прекратить погоню за этим гнусным головорезом. Но его величество знает, чего стоит слово варяга, и я могу заверить его, что желание завладеть этой серебряной штукой, которую они точно в насмешку называют кирасой, и ненависть к нашему отряду – вполне достаточный повод для любого из этих негодяев, чтобы перерезать горло уснувшему варягу. Надо думать, мы с тобой пойдем сейчас к императору и расскажем ему об этом ночном разбое?

– Нет, мой нетерпеливый варяг, даже если бы ты поймал мерзавца, я немедленно отпустил бы его, и я требую от тебя,

чтобы ты забыл обо всем происшедшем.

– Вот так поворот в политике! – воскликнул варяг.

– Ты прав, мой храбрый Хирвард. Перед тем как я ушел сегодня из дворца, патриарх постарался восстановить мир между мной и протоспафарием, и, поскольку наше доброе согласие очень важно для государства, я, как хороший воин и хороший христианин, не мог отказаться от примирения. Патриарх поручился, что все оскорбления, нанесенные моей чести, будут полностью искуплены. Император, который предпочитает ничего не знать о наших ссорах, очень хочет, чтобы эта история заглохла.

– А обвинения, возведенные на варягов... – начал Хирвард.

– Будут взяты обратно и заглажены, – прервал его Ахилл Татий, – увесистым подарком в виде золотых монет, которые раздадут всем воинам англодатского отряда. Если хочешь, мой Хирвард, я назначу тебя раздатчиком, и ты позолотишь свою алебарду, только сумей ловко провести этот дележ.

– Мне моя алебарда больше нравится такой, какова она есть, – сказал варяг. – Мой отец разил ею воров норманнов при Гастингсе^[44]. Эта сталь мне дороже золота.

– Дело твое, Хирвард, – ответил начальник. – Только пеняй на себя, если ты так и останешься бедняком.

Но тут они подошли к калитке, или, лучше сказать, к вылазным воротам, которые вели внутрь большого и массивного укрепления, прикрывавшего вход в город. Начальник

Остановился и склонил голову с видом святоши, готовящегося войти в особо почитаемую часовню.

Глава III

*Здесь дерзость – не подмога:
Главу ты обнажи
И меч свой у порога
Смиренно положи.
Опасностей здесь много:
Будь словно лань, что вдруг
Охотничьего рога
Заслышит дальний звук.*

«Двор»

Перед тем как войти в калитку, Ахилл Татий проделал ряд сложных поклонов, а непривычный к этому варяг неловко и смущенно повторял все его движения. Почти вся служба Хирварда до этого проходила в боевых походах, и только совсем недавно его перевели в константинопольский гарнизон. Поэтому он не был еще знаком с разработанным до мелочей этикетом, который греки – самые церемонные и чопорные воины и придворные в мире – соблюдали не только по отношению к самому императору, но и вообще ко всему, что было с ним связано.

Ахилл, особым образом отвесив полагающиеся поклоны, постучал наконец в ворота, отчетливо и в то же время негромко. Трижды повторив стук, он прошептал своему сопровождающему:

– Сейчас откроют! Если тебе дорога жизнь, повторяй за мной все, что я буду делать.

В тот же момент он подался назад, низко опустил голову, прикрыл глаза рукой, словно защищая их от яркого света, который вот-вот должен вспыхнуть, и стал ждать ответа. Англотатчанин, повинуясь приказу командира и повторяя все его движения, застыл рядом в позе, на восточный лад изображавшей смирение. Маленькие воротца открылись внутрь; из полной темноты возникли фигуры четырех варягов с алебардами, занесенными так, словно они собирались повергнуть наземь пришельцев, нарушивших покой их сторожевого поста.

– Аколит, – произнес начальник вместо пароля.

– Аколит Татий, – пробормотали стражи и опустили алебарды.

Ахилл горделиво вскинул голову, украшенную высоким шлемом, весьма довольный, что воины знают, как велико его влияние при дворе. Хирвард остался невозмутимым, к полному недоумению главного телохранителя, удивленно вопрошавшего себя, как это можно быть столь невежественным, чтобы спокойно наблюдать такую сцену, которая, по его личному мнению, должна была внушать благоговейный страх. Спокойствие своего спутника он отнес за счет его тупой бесчувственности.

Они прошли между стражами, которые, расступившись, пропустили их к длинной и узкой доске, перекинутой через

городской ров, прорытый между укреплением и городской стеной.

– Эту доску, – шепнул начальник Хирварду, – называют Мостом Опасности: говорят, иногда она оказывалась смазанной маслом или посыпанной сушеным горохом, и тела людей, приближенных к священной особе императора, обнаруживали в бухте Золотой Рог^[45], куда стекают воды из рва.

– Никогда бы не подумал, – сказал островитянин, повысив голос до обычного, – что Алексей Комнин...

– Молчи, безумец, или не сносить тебе головы! – воскликнул Ахилл Татий. – Тот, кто будит дочь императорских сводов⁵, всегда навлекает на себя тяжкую кару; но если преступный безумец нарушает ее покой словами, затрагивающими священную особу его величества императора, смерть и та покажется благом по сравнению с наказанием, которое ждет наглеца, прервавшего ее праведный сон! Судьба лишила меня милостей, иначе я не получил бы прямого приказа доставить в священные покои существо, стоящее на столь низкой ступени цивилизации, что оно способно думать только о безопасности своего брэнного тела и не знает духовных радостей. Посмотри на себя, Хирвард, и подумай, кто ты такой? Обыкновенный варвар, и похвалиться ты можешь лишь тем, что на войне, которую ведет твой государь, ты убил нескольких мусульман и что тебя допустили в запретные покои Вла-

⁵ *Дочь Сводов* – выражение, бывшее в ходу при дворе и означающее эхо, как это объясняет сам придворный военачальник. (Примеч. авт.)

хернского дворца^{[46]6}, где твой голос может услышать не только царственная дочь императорских сводов, или, иначе говоря, эхо этих великолепных залов, — продолжал красноречивый аколит, — но и, помилуй нас небо, само священное ухо!

— Ладно, начальник, — ответил варяг, — я, конечно, не умею сказать все так, как положено в этом месте, и сам понимаю, что не гожусь для придворных бесед.

Поэтому я не вымолвлю ни слова, пока ко мне не обратятся, если только не увижу там людей вроде меня самого. Мне трудно приглушать свой голос и изменять его: каким его создала природа, такой он и есть. А поэтому, мой храбрый начальник, я буду нем, пока ты не дашь мне знака говорить.

— Вот это мудро с твоей стороны, — сказал начальник. — Здесь будут особы весьма высокого ранга, более того — порфирородные, так что, Хирвард, приготовься соразмерять свое пустое варварское самодовольство с их высоким разумением и не вздумай отвечать на изящные улыбки взрывами дикого хохота, которыми ты привык раздражаться в компании своих приятелей.

— Я ведь уже сказал тебе, что буду молчать, — возразил задетый этими словами варяг. — Если ты веришь моему слову — хорошо, а если считаешь, что я сорока, которая трещит где попало и что попало, то я вернусь домой, и дело с концом.

Ахилл, считая, видимо, неразумным доводить до край-

⁶ Этот дворец получил свое наименование от соседних Влахернских ворот и моста. (Примеч. авт.)

ности своего подчиненного, в ответ на резкие слова варяга несколько понизил тон, как бы говоря этим, что прощает грубость человеку, с которым даже его соотечественникам трудно было состязаться в силе и храбрости: эти качества Ахилл в глубине души ценил куда больше, чем изысканные манеры выложенных и учтивых воинов, поэтому и пропускал мимо ушей бесцеремонные замечания Хирварда.

Главный телохранитель, отлично знавший лабиринты императорской резиденции, пересек несколько дворишков причудливой формы, составлявших часть огромного Влахернского дворца, и через боковую дверцу, охраняемую также стражами из варяжской гвардии, которые, узнав, пропустили их, он вместе с варягом вошел в здание. В следующей комнате помещалась караульня, где несколько воинов этого же отряда развлекались играми, напомилавшими современные шашки и кости, то и дело прикладываясь к вместительным бутылкам с элем, которым их щедро снабжали, чтобы скрасить часы их службы. Хирвард переглянулся с товарищами; он предпочел бы присоединиться к ним или хотя бы поболтать, так как после приключения с митиленцем эта прогулка при лунном свете его скорее раздражала, чем радовала, если не считать коротких, но волнующих минут, когда он предполагал, что ему предстоит драться на дуэли. Но хотя варяги и не соблюдали строгих правил этикета, принятого при высочайшем дворе, у них были свои, весьма жесткие понятия о воинском долге; поэтому Хирвард, не перемолвившись ни

единым словом с товарищами, проследовал за начальником через караульную и через несколько приемных залов, роскошная обстановка которых подсказала ему, что теперь он находится в священных покоях самого императора.

Миновав многочисленные коридоры и покои, по которым главный телохранитель, видимо хорошо знакомый с ними, шел мягкими, крадущимися и какими-то почтительными шагами, словно, пользуясь его собственным напыщенным выражением, боялся разбудить эхо величественных и монументальных сводов, они начали наконец встречать других обитателей дворца. Наш северянин увидел несчастных рабов, большей частью африканцев, которых греческие императоры порою облекали большой властью и даже окружали почетом, следуя в этом одному из самых варварских обычаев восточного деспотизма. Иные из них стояли у дверей и в проходах как бы на страже, с обнаженными саблями в руках, другие по-восточному сидели на коврах, отдыхая или играя в различные игры, проходившие в полном молчании. Начальник Хирварда ни слова не говорил этим дряхлым и искалеченным существам. Стражам достаточно было взглянуть на главного телохранителя, чтобы беспрепятственно пропустить и его и варяга.

Пройдя несколько помещений, где были только рабы либо вообще никого не было, они попали в отделанный черным мрамором или каким-то другим темным камнем зал, еще более величественный и длинный, чем остальные. На-

сколько мог разглядеть островитянин, в зал вело несколько боковых проходов, однако масляные и смоляные светильники над порталами так чадили, что в их неверном мерцании трудно было определить форму и архитектуру зала. Только по концам этого огромного и длинного помещения светильники горели ярче. Дойдя до середины покоя, Ахилл обратился к воину не своим обычным голосом, а тем осторожным шепотом, которым он начал говорить с того момента, как они миновали Мост Опасности:

– Оставайся здесь, пока я не вернусь; ни при каких обстоятельствах не уходи отсюда.

– Слушаю и повинуюсь, – ответил варяг, употребив формулу повиновения, которую, как и многие другие выражения и обычаи, империя, все еще присваивавшая себе титул Римской, заимствовала у восточных варваров. Ахилл Татий поспешно поднялся по ступенькам, которые вели к одной из боковых дверей зала, слегка толкнул ее, она бесшумно открылась и пропустила главного телохранителя.

Оставшись в одиночестве, варяг, желая развлечься в дозволенных ему пределах, обошел оба конца зала, где свет давал возможность лучше рассмотреть помещение. В задней стене, в самом центре ее, была низенькая железная дверь. Над ней был прибит бронзовый крест, а вокруг него и по сторонам двери висели бронзовые же украшения в виде оков и цепей.

Дверь в темной сводчатой нише была приоткрыта, и Хир-

вард, естественно, заглянул в нее – ведь приказ начальника не запрещал ему удовлетворять свое любопытство таким путем. Тусклый красноватый свет, похожий на мерцание далекой искры, исходил от площадки, укрепленной на стене очень узкой винтовой лестницы, размерами и очертаниями напоминавшей колодец; внизу лестница упиралась в порог железной двери, – мнилось, тут начинается спуск в преисподнюю. Варяг, которого греки с их быстрым умом считали несообразительным, тем не менее легко догадался, что лестница столь мрачного вида, да еще украшенная столь зловещими символами, может вести только в императорские подземелья, по своей протяженности и запутанности самую, быть может, значительную и, уж во всяком случае, самую устрашающую часть священного дворца. Хирвард внимательно прислушался, и ему показалось, что он слышит звуки, которые могли бы исходить из могил, где заживо погребены люди; ему мерещились стоны и вздохи, доносившиеся из бездонной пропасти. Но здесь, видимо, его воображение дополнило картину, созданную на основании догадок.

«Я не сделал ничего такого, – подумал он, – за что меня можно было бы замуровать в одной из этих подземных пещер. Хотя мой начальник Ахилл Татий и немногим умнее осла, но не так же он вероломен, чтобы под вымышленным предлогом заманить меня в тюрьму. Однако если он все-таки решил подобным образом позабавиться сегодня вечером, то, думаю, последнее, что он в жизни увидит, – это блеск ан-

глийской алебарды. Пойду-ка я лучше посмотрю, что делается в другом конце этого огромного зала; может быть, там я найду более счастливые предзнаменования».

Подумав так, могучий сакс направился в другой конец черномраморного зала, стараясь, согласно требованиям этикета, приглушить свои тяжелые шаги и не бряцать оружием. Здесь портал был украшен небольшим алтарем, который несколько выступал над аркой и был похож на алтари в языческих храмах.

На нем курились благовония, и выющийся дымок легким облачком поднимался к потолку, застилая удивительную эмблему, совершенно непостижимую для варяга. Это было бронзовое изваяние, изображавшее две руки^[47] с раскрытыми ладонями, словно отделявшиеся от стены и дарующие благословение тем, кто приближался к алтарю. Руки эти, вдвинутые вглубь по сравнению с алтарем, все же были видны сквозь дым курений в свете плашек, помещенных так, чтобы озарять всю арку. «Я понял бы смысл этого изображения, – подумал простодушный варвар, – если бы руки были стиснуты в кулаки, а зал предназначался для гимнастических упражнений, или, по-нашему, для кулачных боев... Но, поскольку даже беспомощные греки дерутся кулаками, то, клянусь святым Георгием, я не могу понять, что означают эти разжатые ладони». Но тут в ту же дверь, через которую он уходил, вошел главный телохранитель и, приблизившись к неопиту, как можно было бы назвать варяга, сказал ему:

– Следуй за мной, Хирвард, ибо наступает решающая минута. Собери все свое мужество, потому что, поверь мне, от этого зависят твоя честь и доброе имя.

– Если для того, что мне предстоит сегодня, достаточно доблестного сердца и сильной руки, способной обращаться вот с этой игрушкой, то можешь не тревожиться за мою честь и доброе имя.

– Сколько раз я тебе уже напоминал – говори тише и смиреннее, – сказал начальник, – кроме того, опусти алебарду; вообще, мне думается, лучше бы ты оставил ее во внешних покаях.

– С твоего дозволения, доблестный начальник, – ответил Хирвард, – я не люблю расставаться с моей кормилицей. Я ведь один из тех неотесанных невеж, которые не умеют вести себя прилично, если им нечем занять руки, а моя верная алебарда – лучшая забава для них.

– Ну ладно, оставь ее при себе, только помни, что не следует размахивать ею, как ты это обычно делаешь, и не надо орать, вопить и рычать, как на поле боя; не забывай о святости этого места, где любой шум подобен богохульству, и о том, с какими особами тебе, быть может, придется здесь встретиться: оскорбить их – это в некотором смысле все равно, что кощунственно бросить вызов небу.

Наставляя таким образом своего ученика, учитель провел его через боковую дверь в соседнюю комнату, по всем признакам – прихожую, пересек ее и остановился на пороге при-

открытой двухстворчатой двери, ведущей в помещение, которое, видимо, можно было назвать парадным залом дворца. Глазам неотесанного уроженца севера открылось зрелище новое и необычайное для него.

Это был тот покой Влахернского дворца, которым пользовалась в особых случаях любимая дочь императора Алексея, царица Анна Комнина^[48], чье имя дошло и до наших дней благодаря ее литературному таланту, запечатлевшему историю правления ее отца. Она торжественно восседала в кругу избранного литературного общества, какое в те времена могла собрать только дочь императора, порфирородная, то есть рожденная в священном порфирном покое. Она была душой и властительницей этого общества, и сейчас мы окинем его взглядом, чтобы составить себе представление о ее родных и гостях.

У царицы-писательницы были живые глаза, правильные черты лица и, по всеобщему мнению, мягкие приятные манеры; впрочем, ничего другого о дочери императора все равно никто не сказал бы, будь даже ее манеры не слишком любезны. Она расположилась на небольшой скамье, или софе, потому что в Византии прекрасному полу не разрешалось возлежать, как это было принято у римских матрон. Стол перед ней был завален книгами, чертежами, засушенными травами, рисунками. Скамья стояла на небольшом возвышении, и приближенным царицы или вообще тем, с кем она желала побеседовать особо, разрешалось во время этой по-

четной беседы прислоняться коленями к упомянутому возвышению, или помосту; таким образом, они как бы стояли, но в то же время и преклоняли колени. Три других сиденья различной высоты были установлены на том же помосте и под тем же царственным балдахином, который осенял царевну Анну.

Одно из них, точно соответствовавшее по размерам и форме ее собственной скамье, предназначалось для ее мужа, Никифора Вриенния. О нем говорили, что он испытывал, — а может быть, только выказывал — величайшее уважение к учености своей супруги, хотя придворные утверждали, что на ее вечерних приемах он отсутствует гораздо чаще, чем хотелось бы самой Анне и ее царственным родителям. Придворные сплетники частично объясняли это тем, что Анна Комнин была гораздо привлекательней, пока не стала такой ученой, и хотя ее можно было назвать красивой женщиной и сейчас, все же чем образованнее она становилась, тем более утрачивала женское обаяние.

Для того чтобы искупить недостаточную по сравнению с императорским тронном высоту скамьи Никифора Вриенния, ее подвинули почти вплотную к скамье Анны, чтобы царевна все время видела своего красавца мужа, а он не упускал ни единой крупинки мудрости, срывающейся с уст его ученой супруги.

Два других почетных сиденья, или, скорее, трона, потому что там были и подлокотники, и расшитые подушки под

спину, и скамеечки для ног, не говоря уже о великолепии простертого над ними балдахина, предназначались для императорской четы, которая часто посещала публичные чтения своей дочери, происходившие в уже знакомой нам обстановке. В таких случаях императрица Ирина испытывала чувство особой гордости, как мать столь образованной дочери, а Алексей с удовольствием слушал рассказ о своих собственных подвигах, изложенный напыщенным языком царевны, а порой незаметно дремал, убаюканный ее диалогами о премудростях философии, вместе с патриархом Зосимой и другими почтенными мужами.

В описываемый нами момент все места, предназначенные для членов императорской семьи, были заняты, за исключением того, где должен был сидеть Никифор Вриенний, супруг прекрасной Анны Комнин.

Вероятно, сердитая морщинка на челе царевны была вызвана именно его отсутствием, свидетельствовавшим о пренебрежении. Рядом с ней на помосте находились две прислуживавшие ей нимфы в белых одеяниях, а попросту две рабыни, которые стояли, преклонив колени на подушки, пока не требовалась их помощь в качестве живых подставок для того, чтобы держать или разворачивать пергаментные свитки, куда царевна заносила свои собственные глубокие мысли или откуда цитировала чужие. Одна из этих девушек, по имени Астарта, была таким выдающимся каллиграфом, так красиво умела писать на разных языках с разными алфави-

тами, что однажды ее чуть было не отправили в подарок калифу, не умевшему ни читать, ни писать, чтобы задобрить его и предотвратить войну. Что же касается Виоланты, второй прислужницы царевны, такой мастерицы петь и играть на различных музыкальных инструментах, что ее прозвали Музой, то она действительно была послана Роберту Гискару^[49], эрцгерцогу Апулии, дабы смягчить его нрав; но, будучи стар и глух, – а девочке в то время исполнилось всего десять лет, – он вернул этот ценный дар царственному жертвователю и с присущим этому лукавому норманну сластолюбием пожелал, чтобы вместо девчонки, которая гнусавит и визжит, ему прислали кого-то, кто по-настоящему смог бы ублажить его.

Внизу у помоста сидели или возлежали на полу придворные, допущенные на это собрание. Из всех почтенных гостей, посещавших литературные вечера царевны, – а именно так они назывались бы в наши дни, – только патриарху Зосиме и еще нескольким старикам было дозволено пользоваться низенькими скамеечками. Считалось, что для более молодых вельмож честь быть допущенным к беседе с членами императорской семьи куда важнее презренной потребности удобно сидеть. Их было человек пять-шесть, различного возраста и в различных одеяниях. Некоторые стояли, другие отдыхали, преклонив колени у разукрашенного фонтана, который разбрызгивал тончайшую водяную пыль; рассеиваясь почти незаметно для глаз, она освежала воздух, пропи-

танный ароматами цветов и растений, расставленных таким образом, что, с какой бы стороны ни дул ветерок, он всюду разносил их благоухание. Среди собравшихся выделялся рослый, дородный старик по имени Михаил Агеласт, одетый на манер древних философов-циников^[50]; впрочем, он отличался не только нарочитой небрежностью в одежде и грубостью манер, присущей этой секте, но и пунктуальнейшим соблюдением самых строгих правил этикета, установленного императорской семьей. Он не скрывал, что придерживается идей, изложенных циниками, был известен своими республиканскими взглядами и в то же время, странным образом противореча себе, откровенно пресмыкался перед сильными мира сего. Удивительно, с каким постоянством этот старик, которому было уже за шестьдесят, пренебрегал обычной привилегией прислониться к чему-нибудь или опереться коленями и либо упрямо стоял на ногах, либо уже совсем опускался на колени; однако, как правило, он предпочитал стоять, из-за чего и заслужил у своих придворных друзей прозвище Элефаса^[51], то есть Слона, поскольку древние считали, что это обладающее почти человеческим разумом животное наделено такими суставами, которые не позволяют ему становиться на колени.

– Однако в стране гимнософистов^[52] я видел, как слоны опускаются на колени, – заметил кто-то из приглашенных в тот вечер, когда главный телохранитель должен был привести Хирварда.

– Они опускались на колени, чтобы их хозяева могли обратиться к ним на спину? Наш Слон сделал бы то же самое, – сказал патриарх Зосима с насмешкой в голосе, которая настолько приближалась к сарказму, насколько это было дозволено этикетом греческого двора, где, в общем, царило убеждение, что менее преступно даже обнажить кинжалы в присутствии членов императорской семьи, чем обменяться при них остротами. Даже невинный сарказм Зосимы был бы сочтен недопустимым при этом строгом дворе, не занимая патриарх столь высокого положения, которое давало ему право на некоторые вольности.

В тот момент, когда патриарх таким образом несколько нарушил приличия, в зал вошел Ахилл Татий со своим воином. Главный телохранитель больше, чем когда-либо, щеголял утонченностью манер, словно хотел оттенить ею грубоватую безыскусственность варяга: однако в глубине души он испытывал гордость, представляя императорской семье своего прямого и непосредственного подчиненного, человека, которого он привык считать одним из самых замечательных, как по внешности, так и по существу, воинов армии Алексея.

Неожиданное появление новых людей вызвало некоторый переполох. Ахилл вошел в зал тихо, с видом спокойной и непринужденной почтительности, свидетельствовавшей о том, что он привык бывать в таком обществе. Хирвард же запнулся у самого порога, но, догадавшись, что попал в придворное общество, поспешил исправить свою неловкость.

Его начальник чуть пожал плечами, как бы прося извинения у собравшихся, а Хирварду сделал тайком знак, призывая его вести себя разумно, то есть снять шлем и пасть ниц. Но англосакс, непривычный к невразумительным намекам, первым делом, разумеется, вспомнил о своем воинском долге и, подойдя к императору, отдал ему честь. Он преклонил колено, слегка прикоснулся рукой к шлему, затем выпрямился, вскинул алебарду на плечо и замер перед троном, как часовой в карауле.

Легкая улыбка удивления появилась на лицах придворных при виде мужественной внешности северного воина и его бесстрашного, хотя и несколько нарушающего этикет, поведения. Многие перевели взгляд на лицо императора, не зная, должны ли они отнестись к неловкому вторжению варяга как к неучтивости и выказать свой ужас по этому поводу или же им следует рассматривать его манеру держать себя как проявление грубоватого, но мужественного усердия и в таком случае выразить свое одобрение.

Прошло несколько минут, прежде чем император настолько овладел собой, чтобы, по заведенному обычаю, дать придворным почувствовать, как им нужно держаться. Алексей Комнин на какой-то момент не то задремал, не то задумался. Из этого-то состояния его и вывело неожиданное появление варяга; хотя он давно привык к тому, что внешняя охрана дворца поручена этой доверенной гвардии, но внутреннюю охрану, как правило, несли упомянутые нами

изуродованные чернокожие, которые иногда поднимались до положения государственных министров и верховных военачальников. Поэтому вырванный из дремоты Алексей, в чьих ушах еще отдавались звонкие фразы его дочери, читавшей описание боя из большого исторического труда, где она подробно рассказывала о войнах, имевших место во время его царствования, был несколько неподготовлен к появлению и воинственному приветствию одного из англосаксонских гвардейцев, которые всегда напоминали ему о кровавых схватках, опасности и смерти.

Окинув всех настороженным взглядом, император остановил глаза на Ахилле Татии.

– Что тебя привело сюда, мой верный аколит? – спросил он. – И почему этот воин находится здесь в столь поздний час?

Тут-то и настало время для придворных придать своим лицам выражение *regis ad exemplum*⁷, но, прежде чем патриарх успел каждой своей чертой изобразить глубочайшую озабоченность, Ахилл Татий сказал несколько слов, напомнивших Алексею, что он сам приказал привести сюда этого воина.

– Ах да, совершенно верно, добрый мой аколит, – сказал император, и тревожные морщины исчезли с его лба. – Мы забыли об этом деле за другими государственными заботами.

После этого он обратился к варягу искренней и теплой,

⁷ Такое же, как у царя (*лат.*).

чем обычно говорил со своими придворными: ведь для деспота монарха надежный рядовой гвардеец – это человек, которому можно доверять, в то время как любой военачальник всегда вызывает у него некоторые подозрения.

– А, наш достойный англодатчанин, как твои дела?

Столь нецеремонное приветствие удивило всех, кроме того, к кому оно было обращено. Хирвард ответил императору военным поклоном, скорее сердечным, нежели почтительным, и громким, неприглушенным голосом, поразившим присутствующих даже больше, чем англосаксонский язык, на котором иногда говорили эти чужеземцы, воскликнул:

– Waes hael, Kaisar mirrig und machtigh! – Что означало: «Будь здоров, великий и могущественный император!»

Алексей тонко улыбнулся и, чтобы показать, что он может разговаривать со своими воинами на их родном языке, произнес обычный ответ:

– Drink hael!⁸

В ту же минуту прислужник подал серебряный кубок с вином. Император слегка пригубил его, словно пробуя на вкус, и затем приказал передать вино Хирварду, чтобы тот выпил.

Сакс не заставил просить себя дважды и тут же осушил кубок до дна. Легкая улыбка, приличествующая такому обществу, пробежала по лицам собравшихся при виде подвига, отнюдь не удивительного для гиперборейца^[53], но пора-

⁸ Пью за твое здоровье! (*старонем.*)

жившего умеренных греков. Сам Алексей рассмеялся гораздо громче, чем это могли себе позволить придворные, и, с трудом подбирая варяжские слова и путая их с греческими, спросил у Хирварда:

– А ну-ка, скажи, мой храбрый британец, мой Эдуард, – помнится, тебя зовут Эдуардом, – знаком ли тебе вкус этого вина?

– Да, – ответил варяг не моргнув глазом, – я пробовал его однажды под Лаодикеей...

Тут Ахилл Татий, понимая, что воин вступает на весьма зыбкую почву, сделал попытку привлечь его внимание и тайными знаками заставить замолчать или по крайней мере тщательно обдумывать слова в таком обществе. Но варяг, повинувшись военной дисциплине, смотрел только на императора как на своего повелителя, которому он обязан отвечать и служить, и не замечал знаков Ахилла, ставших настолько явными, что Зосима и протоспафарий обменялись выразительными взглядами, словно предлагая друг другу отметить в памяти поведение главного телохранителя.

Между тем разговор между императором и воином продолжался.

– Как же тебе понравился этот глоток по сравнению с тем? – спросил Алексей.

– Мой господин, – ответил Хирвард, обведя присутствующих взглядом и поклонившись с врожденной учтивостью, – общество здесь, конечно, гораздо приятнее, чем компания

арабских лучников. Но я не почувствовал того вкуса, который придают глотку редкостного вина палящее солнце, пыль битвы и усталость после того, как поработаешь таким оружием, как это, – он поднял свою алебарду, – восемь часов подряд.

– Быть может, у этого вина есть другой недостаток, – сказал Агеласт-Слон, – если мне простят такой намек, – добавил он, взглянув в сторону трона. – Может, этот кубок слишком мал по сравнению с тем, который был при Лаодикее?

– Клянусь Таранисом^[54], ты сказал правду, – ответил варяг, – при Лаодикее мне для этого послужил мой шлем.

– Давай-ка сравним эти сосуды, приятель, – продолжал издеваться Агеласт, – мы хотим увериться, что ты не проглотил сегодняшнего кубка вместе с его содержимым. Мне, во всяком случае, показалось, что проглотил.

– Есть вещи, которые я не проглатываю так легко, – спокойно и невозмутимо ответил варяг, – но они должны исходить от человека помоложе и посильнее, чем ты.

Присутствующие вновь обменялись улыбками, как бы говорившими о том, что философ, хотя и был завязтым острословом, в данной схватке потерпел поражение.

В этот момент сказал свое слово император:

– Я посылаю за тобой, приятель, не для того, чтобы тебя здесь осыпали пустыми насмешками.

Агеласт немедленно спрятался за спины придворных, как охотничья собака, на которую хозяин прикрикнул за то, что

она не вовремя таякнула. Но тут наконец заговорила царица Анна Комнина, прекрасное лицо которой уже выражало нетерпение:

– Может быть, мой возлюбленный отец и повелитель, ты объяснишь счастливым, допущенным в этот храм муз, зачем ты приказал сегодня привести этого воина сюда, в святилище, столь недоступное обычно людям его звания? Позволь мне сказать, что мы не должны тратить на легкомысленные и глупые шутки время, столь священное и дорогое для блага империи, как и каждая минута твоего отдыха.

– Наша дочь говорит мудро, – заметила императрица Ирина, которая, как большинство матерей, не наделенных никакими талантами и не очень способных оценить их у прочих людей, горячо восхищалась совершенствами своей любимой дочери и всегда готова была выставить их напоказ. – Позволь мне заметить, что стоило в этом священном и избранном обиталище муз, посвященном занятиям нашей возлюбленной и высокоодаренной дочери, чье перо сохранит твою славу, наш августейший супруг, до того дня, когда погибнет все сущее, а ныне доставляет радость и счастье этому обществу, состоящему из лучших цветов мудрости нашего возвышенного двора, – так вот, позволь мне заметить, что стоило здесь появиться одному-единственному воину из охранной гвардии, как наша беседа приняла характер, свойственный казарме.

Император Алексей Комнин испытывал в эту минуту то

же ощущение, что и любой мужчина, когда его жена произносит длинную речь, тем более что императрица Ирина далеко не всегда проявляла достаточное почтение к его верховной власти и грозному сану, хотя была чрезвычайно строга к другим, когда речь шла о соблюдении пиетета к ее царственному супругу. Поэтому, хотя император и испытывал некоторое удовольствие от краткого перерыва в монотонном чтении истории, сочиненной царевной, он решил, что лучше возобновить это чтение, чем выслушивать красноречивые тирады императрицы. И он со вздохом сказал:

– Я прошу у вас прощения, наша добрая августейшая супруга и наша порфирородная дочь. Я вспомнил, наша обожаемая и высокообразованная дочь, что вчера ты пожелала узнать некоторые подробности о битве при Лаодикее с отвергнутыми небом язычниками-арабами. Еще и по другим соображениям, которые побуждают нас дополнить кое-какими сведениями наши собственные воспоминания, поручили мы Ахиллу Татию, нашему доверенному главному телохранителю, привести сюда одного из находящихся под его началом воинов, чья храбрость и присутствие духа должны были помочь ему наилучшим образом запомнить все, что происходило вокруг него в тот знаменательный и кровавый день. Я полагаю, что это и есть нужный нам человек.

– Если мне будет дозволено говорить, не расставаясь с жизнью, – ответил Татий, – ваше императорское величество и божественные императрица и царица, чьи имена для нас

все равно что имена святых, перед вашими ясными очами сейчас находится лучший из моих англодатчан, или как там еще их называют. Он, позволю себе сказать, варвар из варваров и, хотя по своему рождению и воспитанию не заслуживает того, чтобы ступать по ковру в этом обиталище учености и красноречия, все же настолько храбр, верен, предан и усерден, что...

– Достаточно, мой добрый телохранитель, – прервал его император. – Нам довольно знать, что он хладнокровен и наблюдателен, не теряет головы и присутствия духа в рукопашном бою, как это бывало, по нашим наблюдениям, с тобой и с некоторыми другими военачальниками, а порою, в случаях исключительных, признаться, – и с нашей императорской особой. Такое различие в поведении свидетельствует не о недостатке мужества, а что касается нас – оно говорит о глубоком сознании того, насколько важна наша безопасность для общего блага и сколь многочисленны обязанности, возложенные на нас. Однако, Татий, говори и не медли, ибо я вижу, что наша драгоценная супруга и наша трижды благословенная порфирородная дочь проявляют некоторое нетерпение.

– Хирвард так же спокоен и наблюдателен в бою, – ответил Татий, – как другие во время танцев. Ноздри его жадно вдыхают пыль сражений, и он может устоять один против любых четырех воинов (не считая, конечно, варягов), которые показали себя храбрейшими на службе твоего импера-

торского величества.

– Главный телохранитель, – прервал его император, на лице и в голосе которого появилось выражение неудовольствия, – вместо того чтобы приучать этих бедных невежественных варваров к духу цивилизации и к законам нашей просвещенной империи, ты своими хвастливыми речами разжигаешь в их необузданных душах пустую гордыню, которая толкает их на драки с другими чужеземными воинами и даже на ссоры друг с другом.

– Если мне дозволено будет молвить слово, чтобы смиренно испросить себе прощение, – сказал главный телохранитель, – я хотел бы только объяснить, что не далее чем час назад говорил этому бедному и невежественному англодатчанину о той отеческой заботе, с какой твое величество, император Греции, относится к сохранению доброго согласия между различными отрядами, собранными под твоими знаменами, как печешься ты о поддержании добрых отношений, особенно между воинами разных национальностей, которые имеют счастье служить твоему величеству, как стремишься оградить их от кровавых ссор, столь обычных среди франков и других северных народов, вечно раздираемых гражданскими войнами. Я думаю, что этот бедный малый подтвердит мои слова.

Он посмотрел в сторону Хирварда, который с серьезным видом склонил голову в знак согласия с тем, что сказал его начальник. Видя, что его извинения, таким образом, под-

тверждены, Ахилл продолжал оправдываться уже более уверенно:

– Произнесенные мною только что слова были необдуман-ны, ибо вместо того, чтобы утверждать, что Хирвард может выступить против четверых слуг твоего императорского величества, я должен был сказать, что он готов сразиться с шестью самыми заклятыми врагами святейшего императора Греции, предоставив им выбор времени оружия и места схватки.

– Вот это уже звучит лучше, – сказал император. – К сведению моей дорогой дочери, взявшей на себя благочестивый труд записать все деяния, которые, с Господнего соизволения, были мной совершены для счастья империи, я искренне и горячо хочу внушить ей, что хотя меч Алексея не спал в своих ножнах, тем не менее я никогда не стремился умножить свою славу ценой пролития крови моих подданных.

– Я надеюсь, – сказала Анна Комнин, – что в моем скромном описании жизни царственного владыки, которому я обязана своим рождением, я не забыла отметить его любовь к миру, его заботу о жизни своих воинов, а также его отвращение к кровавым обычаям еретиков-франков как одну из самых замечательных черт, ему присущих.

С повелительным видом человека, требующего внимания у собравшихся, царица, слегка наклонив голову, обвела всех взглядом и, взяв у прелестной Астарты свиток пергамента, на котором отличным почерком рабыни были записаны мыс-

ли госпожи, приготовилась читать.

В эту минуту ее взгляд упал на варвара Хирварда, и она удостоила его следующим приветствием:

– Доблестный варвар, которого, мне кажется, я смутно, словно во сне, припоминаю, сейчас ты услышишь рассказ, который, если прибегнуть к сравнениям, может быть уподоблен портрету Александра, написанному плохим художником, укравшим кисть Апеллеса^[55]. Но пусть иные сочтут этот рассказ недостойным избранной темы, однако он не может не вызвать некоторой зависти у тех, кто непредубежденно ознакомится с его содержанием и оценит всю трудность описания подвигов великого человека, который является героем этого произведения. Все же я прошу тебя внимательно выслушать то, что я буду читать, потому что описание битвы при Лаодикее, возможно, окажется не совсем точным в подробностях, которые я узнала главным образом от его императорского величества, моего царственного родителя, а также от доблестного протоспафария, его непобедимого военачальника, и от Ахилла Татия, верного аколита. Дело в том, что высокие обязанности этих великих военачальников заставляют их держаться на некотором расстоянии от сечи, дабы они имели возможность спокойно и безошибочно оценивать общее положение и отдавать приказы, не беспокоясь за свою безопасность. Даже когда дело идет о вышивании, мой храбрый варяг (не удивляйся, что мы владем этим искусством: ведь ему покровительствует Минер-

ва, которой мы стремимся подражать в наших занятиях), мы оставляем за собой лишь общий надзор за всем рисунком, поручая нашим прислужницам выполнение отдельных его частей. Таким образом, доблестный варяг, поскольку ты был в самой гуще сражения при Лаодикее, ты можешь поведать мне, недостойному историку столь знаменитой войны, о ходе событий там, где люди дрались врукопашную и где судьба войны решалась острием меча. Поэтому, храбрейший из вооруженных алебардами воинов, которым мы обязаны и этой победой, и многими другими, не бойся исправлять любую ошибку или неточность, допущенную нами в описании подробностей этого славного боя.

– Госпожа моя, – сказал варяг, – я со вниманием буду слушать все, что твоему высочеству угодно будет прочесть, хотя с моей стороны было бы слишком самонадеянно пытаться оценить труд порфирородной царевны. Еще меньше пристало варвару-варягу судить о поведении в бою императора, который так щедро ему платит, или начальника, который хорошо к нему относится. Когда нашего совета спрашивают перед боем, этот совет всегда будет правдив и честен, но, насколько я могу понять своим неотесанным умом, если мы вздумаем разбирать сражение после того, как оно состоялось, это будет скорее оскорбительно, нежели полезно. А что касается протоспафария, то, если обязанности командующего – находиться в стороне от схватки, смело могу сказать и в случае нужды поклясться, что этого непобедимого

начальника я никогда не видел ближе, чем на полет дротика, от места, представлявшего хоть малейшую опасность.

Прямые и смелые слова варяга произвели сильное впечатление на собравшихся. И сам император, и Ахилл Татий выглядели так, словно им удалось выйти из опасного дела благополучнее, чем они ожидали.

Протоспафарий постарался подавить свое негодование, Агеласт же шепнул стоявшему рядом патриарху:

– Эта северная алебарда умеет не только рубить, но и колоть.

– Тише, – ответил Зосима, – послушаем, чем это кончится: царица собирается говорить.

Глава IV

*Мы слышали «Такбир». Так называют
Арабы здесь воинственный свой клич,
Которым у небес победы просят,
Когда в разгаре битва и враги
Кричат: «Вперед! Нам уготован рай!»*

«Осада Дамаска»^[56]

В голосе северного воина, хотя и приглушенном уважением к императору и желанием сделать приятное своему начальнику, прозвучало тем не менее больше грубоватой искренности, чем привыкло слышать эхо императорского дворца. Царевна Анна Комнин подумала, что ей придется выслушать мнение сурового судьи, но в то же время она почувствовала по его почтительной манере держаться, что уважение варяга более искренне, а его одобрение, если она сумеет заслужить таковое, более лестно, нежели позолоченные восторги всех придворных ее отца. С чувством некоторого удивления она внимательно смотрела на Хирварда, который, как мы уже описывали, был молод и красив, и испытывала при этом естественное желание понравиться, легко возникающее по отношению к привлекательному представителю другого пола. Он держался свободно и смело, но без тени шутовства или неучтивости. Звание варвара освобожда-

ло его и от принятых форм цивилизованной жизни, и от правил неискренней вежливости. Однако его храбрость и благородная уверенность в себе вызывали к нему больший интерес, чем если бы он вел себя с обдуманной угодливостью или трепетным благоговением.

Короче говоря, Анна Комнин, несмотря на свое высокое положение и порфирородность (которую она ценила превыше всего), готовясь продолжить чтение своей истории, больше стремилась получить похвалу этого неотесанного воина, чем всех остальных своих слушателей. Их она достаточно хорошо знала и не жаждала услышать неумеренные восторги, в которых заранее была уверена дочь греческого императора, пожелавшая приобщить избранных придворных к своим литературным упражнениям. Но сейчас перед ней стоял иной судья, чье одобрение, если она его получит, будет иметь подлинную цену, поскольку завоевать подобное одобрение можно было, только затронув разум или сердце этого судьи.

Быть может, именно под влиянием этих чувств царица несколько дольше, чем обычно, отыскивала в свитке тот отрывок, который она собиралась прочесть. Не осталось незамеченным и то, что начала она чтение неуверенно, даже смущенно, и это удивило вельможных слушателей, которые привыкли видеть ее невозмутимо спокойной перед более сведущей, как они считали, и даже более строгой аудиторией.

Все эти обстоятельства не оставили равнодушным и варяга. Анне Комнин в то время уже перевалило за двадцать

пять, а, как известно, в этом возрасте гречанки начинают терять красоту. Сколько лет прошло с тех пор, как она перешагнула эту роковую черту, не знал никто, кроме нескольких доверенных прислужниц ее порфирного покоя. Поговаривали, что года два, и эту молву подтверждало ее обращение к философии и литературе, ибо такие занятия, видимо, не очень привлекают молоденьких девушек. Ей могло быть лет двадцать семь.

Во всяком случае, Анна Комнин если не теперь, то совсем еще недавно была подлинной красавицей, и, надо полагать, у нее хватило бы обаяния, чтобы покорить северного варвара, забудь он вдруг о разумной осторожности и о непреодолимом расстоянии, разделявшем их. Впрочем, и это соображение вряд ли спасло бы Хирварда, смелого, бесстрашного и свободнорожденного, от чар этой обворожительной женщины, ибо в те времена неожиданных переворотов было немало случаев, когда удачливые военачальники делили ложе с порфирородными царевнами, которым они, возможно, сами помогали стать вдовами, чтобы расчистить путь для собственных притязаний. Но не говоря уже о некоторых привязанностях, о которых читатель узнает позже, Хирвард, хотя и был польщен необычным вниманием, уделенным ему царевной, все же видел в ней только дочь своего императора и повелителя и супругу знатного вельможи. Смотреть на нее иными глазами ему одинаково запрещали и долг и разум.

Только после одной или двух неудачных попыток Анна

Комнин начала свое чтение; сначала ее голос звучал неуверенно, но сила и звучность возвращались к нему по мере того, как она читала нижеследующий отрывок из хорошо известного раздела своей истории царствования Алексея Комнина, не воспроизведенный, к несчастью, византийскими историками. Именно так и должен быть воспринят этот отрывок читателями – знатоками античной литературы: автор надеется заслужить благодарность ученого мира за восстановление столь любопытного фрагмента, который в противном случае, вероятно, все еще пребывал бы в полном забвении.

ОТСТУПЛЕНИЕ ОТ ЛАОДИКЕИ

Впервые публикуемый в переводе с греческого отрывок из написанной царевной Анной Комнин истории царствования ее отца

«Солнце удалилось на свое ложе в океане, словно ему было стыдно смотреть на то, что бессмертная армия нашего божественного императора Алексея окружена дикими ордами нечестивых варваров, которые, как было описано в предыдущей главе, заняли ряд горных проходов на пути римлян и в тылу у них и коварно укрепились там накануне ночью. И хотя в нашем триумфальном марше мы уже далеко продвинулись, однако теперь возникло серьезное опасение – смогут ли наши победоносные отряды проникнуть в глубь

вражеской страны или хотя бы благополучно отступить к собственным своим пределам.

Обширные познания императора в военном деле – они превосходят познания большинства ныне здравствующих государей – помогли ему накануне вечером с удивительной точностью и прозорливостью определить позицию врага. Для этого ответственного дела он выбрал отряд легковооруженных варваров, родом из сирийской пустыни, сохранивших и в чужой стране свои военные нравы и обычаи. Поскольку мой долг – писать под диктовку истины, ибо только ей должно подчиняться перо историка, я не могу не сказать, что эти варвары – такие же язычники, как и наши враги; однако они верны римскому знамени и, как мне кажется, являются преданными слугами императора, которому они и добыли нужные сведения о расположении войск его грозного противника Ездегерда.

Но эти сведения они доставили значительно позже того часа, когда император обычно отправляется почивать.

Пренебрегая подобным нарушением своего священного отдыха, наш августейший отец, отложивший церемонию раздевания – настолько напряженным был момент, – держал совет со своими опытнейшими военачальниками, людьми столь мудрыми, что они могли бы спасти от гибели рушащуюся вселенную; до глубокой ночи обсуждали они, что следует предпринять в этих тяжелых

обстоятельствах. Дело требовало столь срочного решения, что все обычные порядки, установленные при дворе, были отменены; например, я слышала от очевидцев, что императорская постель была устроена в том же помещении, где собрался совет, а священный светильник, именуемый светильником совета, который зажигают всякий раз, когда император сам возглавляет совещание своих приближенных, в эту ночь – событие неслыханное в нашей истории – был заправлен не благовонным, а простым маслом!»

Тут прекрасная чтица приняла изящную позу, изображающую трепетный ужас, а слушатели выразили свое сочувствие по поводу такого невероятного случая соответствующими жестами; не вдаваясь в подробности, скажем только, что возглас Ахилла Татия был как нельзя более патетическим, а стон Агеласта-Слона напоминал глухой рев дикого зверя. Хирварда все это мало трогало, разве только слегка удивило поведение присутствующих. Царевна, выждав достаточно времени, чтобы все могли выразить свои чувства, продолжала чтение:

«В этих печальных обстоятельствах, когда даже самые нерушимые и священные традиции императорского двора отступили перед необходимостью безотлагательно решить, что следует делать завтра, мнения советников разошлись соответственно характерам и привычкам последних – явление, кстати сказать, довольно обычное даже

среди добродетельнейших и мудрейших мужей, если им приходится принимать столь трудное и важное решение.

Я не стану приводить здесь имена и мнения тех, чьи советы были выслушаны и отвергнуты, уважая тайну и свободу высказываний, которые так соблюдаются в совете императора. Достаточно сказать, что одни хотели без промедления атаковать врага, продолжая двигаться в том же направлении, что и раньше.

Другие считали, что безопаснее и легче, пробившись назад, вернуться тем же путем, каким мы пришли сюда; не следует также скрывать, что были и такие люди – их преданность не подвергается сомнению, – которые предлагали третий выход, более безопасный, чем первые два, но совершенно неприемлемый для нашего благородного императора. Они советовали послать доверенного раба вместе с министром императорского двора в шатер Ездегерда, чтобы выяснить у него, на каких условиях этот варвар разрешит нашему победоносному отцу, не подвергаясь опасности, отступить во главе своей доблестной армии. Услышав такой совет, наш августейший отец воскликнул: “Святая София!”^[57] – а эти слова, как известно, обычно предшествуют проклятию, которое он иногда позволяет себе произнести, – и уже готов был осудить бесчестность подобного совета и трусость того, кто его подал, но, вспомнив о превратностях человеческой судьбы и несчастьях, постигших некоторых из его славных предшественников, вынужденных сдаться

неверным в том самом месте, где он сейчас находился, его императорское величество подавил благородные чувства и ограничился изложением своих мыслей по этому поводу.

Он заявил военным советникам, что даже перед лицом смертельной опасности постарается не идти на столь постыдные переговоры. Таким образом, могущественный государь без колебаний отверг совет, позорный для его оружия и могущий поколебать боевой дух войск, хотя в глубине души император решил, если другого выхода не будет, согласиться на такое вполне безопасное, хотя – в более благоприятных условиях – не очень почетное отступление.

В эту печальную минуту, когда, казалось, говорить было уже не о чем, явился прославленный Ахилл Татий с обнадеживающим сообщением – он во главе нескольких своих воинов обнаружил на левом фланге расположения наших войск горный проход, через который, сделав, конечно, значительный крюк, мы могли бы пробраться и, двигаясь ускоренным маршем, достичь города Лаодикеи, соединиться с нашими резервами и до известной степени оказаться в безопасности.

Как только этот проблеск надежды озарил встревоженный дух императора, наш милостивый родитель стал немедленно отдавать приказы, которые должны были обеспечить полный успех этому делу. Его императорское величество не пожелал, чтобы храбрая варяжская гвардия, которую он считал цветом своей

армии, на этот раз первой встретила противника. Он не посчитался с любовью к сражениям, всегда отличавшей благородных чужеземцев, и приказал, чтобы сирийские отряды, уже упомянутые нами, по возможности без шума продвинулись к свободному от врага проходу и заняли его. Великий гений нашей империи указал, что поскольку сирийцы всем своим обликом, оружием и языком схожи с нашими врагами, их подвижные отряды смогут беспрепятственно занять упомянутое ущелье и, таким образом, обеспечат отступление всей армии, в авангарде которой пойдут варяги, охраняющие священную особу императора. За ними последуют прославленные отряды Бессмертных⁹ – то есть основная часть армии, – которые составят ее центр и арьергард. Ахилл Татий, верный аколит нашего царственного владыки, хотя и был глубоко опечален тем, что ему вместе с его гвардией не разрешили возглавить арьергард, где возможность столкновения с врагом казалась в то время наиболее вероятной, тем не менее охотно согласился с предложением императора, обеспечивающим наилучшим образом безопасность государя и всей армии.

Приказы императора были немедленно разосланы и самым точным образом выполнены, ибо они указывали путь к спасению, на которое не надеялись даже самые старые и опытные воины. В те ночные часы,

⁹ Бессмертные, принадлежавшие к константинопольской армии, были избранным отрядом, названным так в подражание древним персам. Согласно Дюканжу, они были сформированы впервые Михаилом Дукой. (*Примеч. авт.*)

когда, по выражению божественного Гомера, спят и боги и люди^[58], стало ясно, что бдительность и предусмотрительность одного человека сохраняют от гибели всю римскую армию. Первые лучи рассвета тронули вершины скал, образующих ущелье, и сразу засверкали на солнце стальные шлемы и копья сирийцев, которыми командовал Монастрас, вместе со всем своим племенем связавший свою судьбу с судьбами империи. Государь во главе верных варягов двигался по ущелью, стремясь выйти на дорогу к Лаодикие и избежать столкновения с варварами.

Великолепное это было зрелище – темная масса северных воинов, которые шли впереди, медленно и упорно, подобно могучей реке, пробираясь по горному ущелью, огибая скалы и пропасти или преодолевая невысокие подъемы, в то время как небольшие отряды лучников и копейщиков, вооруженных по-восточному, рассыпались по крутым склонам, словно легкая пена вдоль берегов потока. Окруженный воинами-гвардейцами, горделиво выступал боевой конь его императорского величества, гневно бьющий землю копытом, словно негодуя на то, что нет на нем его царственной ноши. Восемь сильных африканских рабов несли на носилках императора Алексея, который возлежал на них, сберегая силы на тот случай, если враги настигнут армию.

Доблестный Ахилл Татий ехал рядом, дабы ни одна из тех блистательных идей, благодаря которым наш августейший повелитель не раз решал судьбу

сражения, не пропала втуне и была бы немедленно передана тем, кто должен был претворять ее в жизнь. Следует добавить, что были там и носилки императрицы Ирины, которую мы можем сравнить с луной, озаряющей вселенную, и еще несколько носилок, а среди них – принадлежащие сочинительнице этого описания, недостойной упоминания, если бы она не была дочерью знаменитых и священных особ, которым посвящен сей рассказ. В таком порядке императорская армия преодолевала опасные горные проходы, где она могла подвергнуться нападению варваров. Мы счастливо миновали их, не встретив сопротивления. Когда мы подошли к выходу из ущелья, откуда начинался спуск к городу Лаодикее, прозорливость императора подсказала ему, что пора остановить воинов авангарда, которые, несмотря на тяжелое вооружение, двигались очень быстро; эта остановка была необходима и для того, чтобы воины передохнули и освежили силы, и для того, чтобы подтянулся арьергард, так как в войсковых колоннах за время торопливого марша образовались разрывы.

Место, выбранное для стоянки, было восхитительно – цепь невысоких холмов постепенно переходила в долину, раскинувшуюся между ущельем, которое мы занимали, и Лаодикоей. Город был от нас примерно на расстоянии ста стадий, и наиболее пылкие воины даже утверждали, что уже различают башни и островерхие крыши, сверкающие под косыми лучами солнца, еще невысоко стоявшего над горизонтом.

Горный поток, вытекавший из расщелины в огромной скале, словно по ней ударил жезлом пророк Моисей^[59], катил свои воды по отлогому склону, питая влагой травы и даже большие деревья, и лишь в милях четырех или пяти от этого места терялся – по крайней мере в засушливые месяцы – среди песчаных наносов и камней, чтобы в период дождей наброситься на них с особенной яростью и силой.

Было отрадно видеть, как заботится император об удобствах своих спутников и охраны. Трубы время от времени оповещали то один отряд варяжской гвардии, то другой, что воины могут положить оружие, дабы принять пищу, которую им приносили, утолить жажду чистой водой из потока, обильно струившегося с холма, или просто дать отдых своим могучим телам и растянуться на траве. Императору, его супруге, царевнам и придворным дамам завтрак был подан у источника, где брал начало ручеек, который воины, исполненные благоговейных чувств, не осквернили своими грубыми прикосновениями, чтобы им могло воспользоваться семейство, столь выразительно именуемое порфирородным.

Здесь присутствовал и наш возлюбленный супруг; он был среди тех, кто первым обнаружил одно из бедствий, постигших нас в этот день. Хотя вся трапеза благодаря усилиям слуг императорской кухни даже в таких страшных обстоятельствах мало чем отличалась от пищи, обычно подаваемой в императорском дворце, однако, когда государь потребовал вина, то – о

ужас! – оказалось, что не только исчерпана или где-то оставлена священная влага, предназначенная для уст императора, но, говоря языком Горация^[60], невозможно раздобыть худшее из сабинских вин. И его императорское величество с радостью принял предложение неотесанного варяга, протянувшего ему свою долю ячменного отвара, который эти варвары предпочитают соку виноградной лозы. Да, император не отказался от этой жалкой дани».

– Вставь сюда, – сказал вдруг император, не то очнувшийся от глубокой задумчивости, не то пробудившийся от легкого сна, – вставь сюда следующие слова: «Так знойно было это утро, так поспешно отступление от многочисленного врага, идущего по пятам, а императору так хотелось пить, что ни разу в жизни ни один напиток не казался ему столь восхитительным».

Повинуясь своему царственному отцу, Анна Комнин передала рукопись прекрасной рабыне-переписчице и, продиктовав ей это добавление, велела отметить, что оно сделано по высочайшему приказу самого императора. Затем она продолжала чтение:

«Я тут написала кое-что о любимом напитке верных императорскому величеству варягов, но, поскольку наш драгоценный родитель удостоил похвалы этот эль, как они называют его, – потому, очевидно, что он исцеляет все недуги, или, на их языке, элементы, – эта тема становится слишком возвышенной, чтобы ее обсуждал кто-нибудь из простых смерт-

НЫХ.

Могу только добавить, что все мы прекрасно провели время; дамы и рабы старались усладить императорский слух пением; воины в самых живописных позах длинной линией расположились в долине, некоторые бродили вдоль ручья, другие посменно сторожили оружие своих товарищей, а тем временем отставшие войска, в частности Бессмертные под командованием протоспафария, подходили отряд за отрядом и присоединялись к армии. Уставшим воинам разрешили отдохнуть, после чего их послали вперед по дороге на Лаодикею, а командиру было приказано, как только он установит связь с городом, потребовать подкреплений и продовольствия, не забыв о священном вине для императорских уст. Итак, римские отряды Бессмертных и другие двинулись вперед, ибо император пожелал, чтобы варяги, составлявшие до сих пор авангард, теперь прикрывали тыл армии, дабы легковооруженные сирийские войска могли, не подвергаясь опасности, уйти из все еще занимаемого ими ущелья, которое мы так благополучно миновали. И тут мы услышали ужасный вопль: «Лля!» – так называют арабы свой военный клич, хотя что это значит, мне непонятно».

Быть может, кто-нибудь из собравшихся здесь просветит мое невежество?

– Если мне будет дозволено говорить, не расставаясь с жизнью, то я отвечу, – произнес Ахилл Татий, гордый своими познаниями в иноземных языках. – Эти слова звучат так:

«Алла иль Алла Мухаммед расул Алла»¹⁰, или что-то в этом роде; это символ их веры, и с ним они всегда идут в бой. Я много раз слышал его.

– Я тоже слышал, – сказал император, – и мне – впрочем, ручаюсь, что и тебе, – иной раз хотелось оказаться где угодно, только не там, где раздается этот клич.

Окружающие с живым интересом ждали, что ответит Ахилл Татий. Однако он был слишком искушенным царедворцем, чтобы тут же не найтись.

– Мой долг, – сказал он, – требует от меня, чтобы, как и подобает твоему верному телохранителю, я всегда был возле твоего императорского величества, где бы ты в эту минуту ни пожелал оказаться.

Агеласт и Зосима обменялись взглядами, а царица Анна Комнин продолжила чтение:

«Причину этих ужасающих воплей, доносившихся из ущелья, вскоре сообщили нам двенадцать всадников, на которых была возложена обязанность доставлять сведения.

Они доложили нам, что язычники, чье войско было разбросано вокруг позиции, которую мы занимали накануне, не могли объединить свои силы до тех пор, пока сирийские отряды, прикрывавшие отступление нашей армии, не оставили своего сторожевого поста.

Когда, спустившись с холмов, сирийцы оказались в

¹⁰ «Нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммед – пророк Его» (*араб.*) – главный догмат ислама, утверждающий единобожие Аллаха.

горном проходе, то, несмотря на скалистую местность, их яростно атаковал Ездегерд во главе большого отряда своих приверженцев, которых с немалыми усилиями ему все же удалось собрать и бросить на арьергард армии императора. И хотя коннице было весьма неудобно действовать в ущелье, вождь неверных энергичными понуканиями заставил своих воинов двинуться вперед с решимостью, чуждой сирийцам, которые, увидев, какое расстояние отделяет их от товарищей по оружию, пришли к прискорбному выводу, что они принесены в жертву, и стали бросаться из стороны в сторону, вместо того чтобы оказать врагу дружное и решительное сопротивление. Таким образом, в дальнем конце ущелья положение оказалось гораздо хуже, чем нам хотелось бы, и те, кого любопытство толкало взглянуть на зрелище, которое можно было бы назвать разгромом нашего арьергарда, видели, как толпы злодеев-мусульман скатывались с холмов, бросались на бегущих сирийцев и либо убивали их, либо брали в плен.

Святейший император несколько минут смотрел на поле битвы и, будучи сильно взволнован этим зрелищем, отдал несколько поспешный приказ варягам построиться и быстрым маршем двигаться к Лаодикие, на что один из воинов-северян смело возразил, не убоившись оспорить приказ государя: “Если мы будем торопливо спускаться с холма, в арьергарде начнется беспорядок, отчасти из-за спешки, а отчасти из-за этих негодяев сирийцев, которые обязательно врежутся на

бегу в наши ряды и смешают их. Пусть две сотни варягов, которые живут и умирают во славу Англии, вместе со мной займут горловину ущелья, а остальные пусть сопровождают императора в эту самую Лаодикею, или как она там называется. Быть может, мы поляжем костями, защищаясь, но умрем, выполняя свой долг, и, уж конечно, так угостим этих воющих псов, что они будут сыты по горло – сегодня по крайней мере”.

Мой августейший отец сразу по достоинству оценил совет, хотя и готов был заплакать, глядя, с каким непоколебимым мужеством несчастные варвары стремились попасть в число тех, кому надлежало пойти на столь ужасное дело, с какой любовью прощались они с товарищами и какими восторженными криками провожали своего повелителя, глядя, как он продолжает путь вниз по холму, предоставляя им грудью встретить натиск врага и погибнуть. Глаза императора были полны слез, и я не стыжусь сознаться, что в тот ужасный миг императрица и я сама забыли свое происхождение и точно так же отдали должное этим храбрым и преданным людям.

В последний раз мы видели их вожака, когда он тщательно расставлял своих товарищей для защиты ущелья, располагая их таким образом, чтобы центр обороны находился посередине прохода, а фланги нависали над флангами противника, если он будет напирать на тех, кто преграждал ему путь. Не успели мы преодолеть и половины расстояния, отделявшего нас от долины, как услышали страшный шум: то были вопли

арабов и мощные отчетливые возгласы варягов, которые они обычно троекратно повторяют, приветствуя своих начальников и государей или вступая в бой.

Многие обращали свои взоры туда, где шло сражение, и, будь там скульптор, он запечатлел бы этих людей в то мгновение, когда они замедляли шаги, не зная, слушать ли голос долга, который приказывал им продолжать путь вместе с императором, или же, откликнувшись на зов храбрости, броситься назад, к товарищам.

Привычка повиноваться, однако, взяла верх, и большая часть двинулась вперед.

Прошел час, в течение которого до нас то и дело доносился шум битвы, и вот у императорских носилок появился конный варяг. Его взмыленный скакун, судя по сбруе, благородству форм и тонким ногам, принадлежал, должно быть, какому-нибудь вождю пустыни и по воле случая попал во время сражения к северному воину. Мощная алебарда варяга была покрыта кровью, а по лицу его разлилась смертельная бледность. Он был отмечен печатью боя, из которого только что вырвался, поэтому ему простили недостаточную почтительность приветствия.

“Благородный государь! – воскликнул он. – Арабы разбиты, и вы можете продолжать свой путь уже не столь поспешно”.

“Где Ездегерд?” – спросил император, у которого было достаточно причин опасаться этого прославленного вождя.

“Ездегерд, – ответил варяг, – там, куда попадают храбрецы, павшие при исполнении долга...”

“Значит, он...” – прервал император, жаждавший узнать более точно судьбу своего грозного врага.

“...там, где скоро буду и я”, – ответил верный воин и, упав с коня к ногам тех, кто нес императорские носилки, испустил дух.

Император поручил своим слугам присмотреть за тем, чтобы труп верного воина, которого он хотел похоронить с почетом, не достался шакалам или стервятникам, а земляки покойного, англосаксы, весьма его почитавшие, подняли бездыханное тело на плечи и двинулись дальше с этой новой ношей, готовые сразиться за драгоценные останки подобно тому, как некогда сражался доблестный Менелай за тело Патрокла»^[61].

Здесь Анна Комнин остановилась; дойдя до этого места, которое, очевидно, считала завершением отрывка, она хотела проверить, понравилось ли прочитанное слушателям. Надо сказать, что, не будь царица так увлечена своей рукописью, она гораздо раньше заметила бы волнение чужеземного воина. Некоторое время он не менял позы, принятой вначале, – стоял навывтяжку, неподвижно, словно в карауле, не думая, по-видимому, ни о чем, кроме того, что находится при исполнении воинских обязанностей в присутствии императорского двора. Однако потом он стал проявлять больше интереса к тому, что читала царица. Рассказ о страхе, звуча-

шем в словах различных военачальников во время ночного военного совета, он слушал с выражением сдержанного презрения, когда же дело дошло до похвал в адрес Ахилла Татия, варяг чуть было не расхохотался. Даже упоминание об императоре он выслушал хотя и уважительно, но без того восторга, которого добивалась императорская дочь, прибегая к столь явным преувеличениям.

До сих пор на лице варяга почти не было признаков внутреннего волнения, но они не замедлили появиться, едва только царица начала описывать остановку после того, как почти вся армия выбралась из ущелья, неожиданное нападение арабов, отход колонны, сопровождавшей императора, шум схватки, доносившийся до отступающих. Он слушал рассказ об этих событиях, и с лица его сходило суровое, принужденное выражение; это уже не был воин, который внимает рассказу о своем императоре с тем же видом, с каким несет караульную службу во дворце. Щеки его то вспыхивали румянцем, то бледнели, глаза то начинали сверкать, то наполнялись слезами, руки и ноги помимо воли их владельца непрерывно двигались; он превратился в слушателя, горячо заинтересованного в том, что ему читают, безразличного к происходящему, не помнящего, где он находится.

Царица продолжала читать, и Хирвард уже не мог справиться с волнением; в тот момент, когда она обвела всех взглядом, варяг настолько потерял власть над собой, что, совершенно забывшись, уронил тяжелую алебарду на пол и,

всплеснув руками, воскликнул;

– О мой несчастный брат!

Все вздрогнули от стука упавшего оружия, и несколько человек тут же поспешили вмешаться, пытаясь объяснить столь необычайное происшествие. Ахилл Татий бормотал что-то невнятное, просил простить Хирварду такое неделикатное выражение чувств, объяснял высокому собранию, что бедный необразованный варвар приходится младшим братом командиру-варягу, погибшему в том памятном ущелье. Царевна молчала, но было видно, что она поражена, тронута и вместе с тем довольна столь сильными чувствами, вызванными ее произведением. Остальные, каждый в меру своих возможностей, мямлили какие-то слова, которые следовало принять за выражение соболезнования, ибо подлинное горе вызывает сочувствие даже у самых равнодушных людей. Голос Алексея заставил умолкнуть непрощенных утешителей.

– Ну, мой храбрый воин Эдуард, – сказал император, – я, видимо, ослеп, раз не узнал тебя раньше; мне помнится, у нас есть заметка, согласно которой мы собирались выдать пятьсот золотых монет варягу Эдуарду; она имеется в наших секретных записях о наградах, полагающихся нашим подданным, и выплата не заставит себя ждать.

– С твоего позволения, государь, не мне получать эти монеты, – сказал англодатчанин, поспешно придавая своему лицу прежнюю грубоватую суровость, – иначе они попадут к тому, кто не имеет права на щедрость твоего императорско-

го величества. Меня зовут Хирвард, имя Эдуард носят три моих товарища, и все они не меньше, чем я, заслужили награду за верное исполнение своего долга.

Татий знаками старался предостеречь воина от такой глупости, как отказ от императорского подарка, Агеласт же высказался прямо.

– Юноша, – сказал он, – радуйся столь неожиданной чести и отзывайся впредь лишь на имя Эдуарда, ибо светоч мира озарил тебя лучом своего сияния; теперь ты отличен этим именем из числа прочих варваров. Что для тебя купель, в которой тебя крестили, или священник, совершавший этот обряд, если тогда ты получил не то имя, каким угодно было назвать тебя сейчас императору? Ты выделен из безликой толпы и, вознесенный столь великой милостью, обретаешь право на известность даже среди грядущих поколений.

– Хирвардом звали моего отца, – сказал воин, уже успевший овладеть собой. – Я не могу отказаться от своего имени, если чту его память. Эдуардом зовут моего товарища, и я не должен посягать на его интересы.

– Довольно! – прервал император. – Если мы и совершили ошибку, то достаточно богаты, чтобы исправить ее, и Хирвард не станет беднее, если какой-то Эдуард окажется достойным этой награды.

– Твое величество может поручить это своей преданной супруге, – сказала императрица Ирина.

– Его наисвятейшее величество, – заметила Анна Ком-

нин, — столь ненасытен в своем стремлении быть добрым и великодушным, что не оставляет даже самым ближайшим своим родственникам возможности проявить благодарность или щедрость. Тем не менее и я, со своей стороны, выражу признательность этому храброму человеку и, упоминая в своей истории его деяния, всегда буду отмечать: «Этот подвиг был совершен Хирвардом, англодатчанином, которого его императорскому величеству угодно было именовать Эдуардом». Возьми это, добрый юноша, — продолжала она, протягивая ему драгоценный перстень, — в знак того, что мы не забудем нашего обещания.

С низким поклоном принимая подарок, Хирвард не мог скрыть волнения, естественного в этих обстоятельствах. Для большинства присутствующих было очевидно, что прекрасная царевна выразила свою благодарность в форме, более приятной для молодого телохранителя, чем Алексей Комнин. Варяг взял перстень с великой признательностью.

— О драгоценный дар! — сказал он, прижимая этот знак уважения царевны к губам. — Может быть, нам недолго придется быть вместе, но, клянусь, — добавил он, склонившись перед Анной, — разлучить нас сможет одна только смерть.

— Продолжай свое чтение, наша августейшая дочь, — сказала императрица Ирина. — Ты уже достаточно показала, что для той, которая может даровать славу, доблесть одинаково драгоценна, в ком бы она ни обитала — в римлянине или варяге.

Не без некоторого замешательства Анна Комнин возобновила чтение:

«Мы вновь начали продвигаться по направлению к Лаодикее; все принимавшие участие в походе были теперь полны добрых надежд. И все-таки мы невольно оглядывались назад, туда, откуда в течение столь долгого времени ожидали нападения. И вот, к нашему изумлению, на склоне холма, как раз на полдороге между нами и тем местом, где мы останавливались, появилось густое облако пыли. Кое-кто из воинов, составлявших наш отступающий отряд, особенно те, что находились в арьергарде, принялись кричать: “Арабы!”, “Арабы!” – и, будучи уверенными, что их преследует неприятель, ускорили свой марш. Однако варяги в один голос стали уверять, что эту пыль подняли их оставшиеся в живых товарищи, которым было поручено оборонять ущелье и которые, доблестно выполнив свой долг, тоже двинулись в путь. С полным знанием дела они говорили, что облако пыли более плотно, чем если бы оно было поднято арабской конницей, и даже решались утверждать, опираясь на свой немалый опыт, что число их товарищей сильно поубавилось после битвы. Несколько сирийских всадников, посланных на разведку, вернулись со сведениями, во всех подробностях подтверждавшими слова варягов. Оставленный нами отряд гвардейцев отбил арабов, а их доблестный предводитель поразил вождя Ездегерда и во время схватки с ним был

смертельно ранен, о чем уже упоминалось выше. Оставшиеся в живых – число их уменьшилось наполовину – спешили теперь догнать императора, насколько им позволяли раненые, которых они хотели доставить в безопасное место.

Император Алексей, движимый одним из тех великодушных и милосердных побуждений, которые свидетельствуют о его отеческом отношении к воинам, приказал, чтобы все носилки, даже предназначенные для его собственной священной особы, были немедленно посланы назад, дабы освободить храбрых варягов от необходимости нести раненых товарищей. Легче представить, чем описать, восторженные крики варягов, когда они увидели, что сам император сошел с носилок и, подобно рядовому всаднику, вскочил на боевого коня, в то время как святейшая императрица, равно как автор этих строк и другие порфирородные царевны, продолжала свой путь на мулах, а их носилки немедленно были предоставлены раненым воинам.

Император проявил тут не только доброту, но и военную проницательность, ибо помощь, оказанная тем, кто нес раненых, позволила оставшимся в живых защитникам ущелья присоединиться к нам скорее, чем это было бы возможно в ином случае.

С глубоким прискорбием смотрели мы на поредевшие ряды этих людей, которые совсем недавно покинули нас во всем блеске, придаваемом молодости и силе военными доспехами; теперь латы их были продавлены, в щитах застряли стрелы, оружие открыто

кровью, и весь их облик свидетельствовал о том, что они только что вышли из жестокой битвы. Стоит рассказать о встрече варягов, принимавших участие в сражении, с товарищами, к которым они присоединились.

Император по предложению своего верного аколита разрешил тем, кто видел битву лишь издали, на несколько минут выйти из строя и расспросить друзей о подробностях.

Эта встреча двух отрядов являла собой смешение горя и радости. Даже самые грубые из варваров, — я свидетельствую это, ибо видела все собственными глазами, — приветствовали крепким рукопожатием товарищей, которых уже считали погибшими, а их большие голубые глаза наполнялись слезами, когда они узнавали о смерти тех, кого надеялись встретить живыми.

Бывалые воины рассматривали боевые знамена, радуясь, что, покрытые славой, они находятся теперь в безопасности, и подсчитывали, сколько новых следов от вонзившихся стрел появилось на их полотнищах.

Все громко славили храброго молодого начальника, которого они потеряли в битве, и не менее согласно восхваляли того, кто взял на себя начальство над отрядом, кто привел назад воинов своего павшего брата и кого, — сказала царица, по всей видимости вставив эти слова ради данного случая, — автор настоящей истории, я хочу сказать — и все члены императорского дома поистине высоко ценят и уважают за доблестную службу в столь трудных обстоятельствах».

Воздав своему другу-варягу этой краткой похвалой дань уважения, к которому примешивались чувства, неохотно обнаруживаемые перед многочисленными слушателями, Анна Комнин перешла к чтению следующей части своей истории, носившей менее личный характер:

«Мы недолго занимались наблюдениями за отважными воинами, ибо, когда прошли те несколько минут, что были отведены им для изъявления чувств, труба возвестила о продолжении похода на Лаодикею, и вскоре мы увидели город, расположенный в четырех милях от нас посреди равнины, почти целиком покрытой лесом. Очевидно, стража, охранявшая город, уже заметила наше приближение, так как из ворот выехали повозки и фуры с освежающими напитками, которые были необходимы нам после продолжительного похода по жаре среди столбов пыли и при недостатке воды. Воины с радостью прибавили шагу, чтобы скорее получить продовольствие, в котором они так нуждались. Но чаша не всегда доносит драгоценный напиток до уст, которым она предназначена, как бы ни жаждали влаги эти уста. Вот так же и нас постигло разочарование, ибо мы увидели, что из рощи, расположенной между римской армией и городом, появилась, словно туча, арабская конница и, галопом налетев на повозки, начала опрокидывать их и убивать возниц. Это был, как мы впоследствии узнали, вражеский отряд, возглавляемый Варанесом, не уступавшим по боевой славе среди

неверных Ездегерду, своему убитому брату. Когда Варанес понял, что успех на стороне варягов, отчаянно защищавших ущелье, он возглавил большой отряд конницы и, поскольку неверные, когда они на лошадях, не уступают в скорости ветру, проделав огромный крюк, прошел через другое ущелье, расположенное севернее, а затем устроил засаду в роще, о которой я уже упоминала: он решил напасть на императора и его армию как раз в то время, когда они будут уверены, что спокойно завершили отступление. Атака действительно могла оказаться неожиданной, и трудно сказать, чем бы все это кончилось, если бы не внезапное появление вереницы повозок, пробудивших необузданную жадность в арабах, несмотря на осторожность их вождя, пытавшегося остановить своих воинов. Таким образом, засада оказалась обнаруженной.

Однако Варанес, не желая отказываться от преимуществ, полученных благодаря быстрому переходу, собрал тех всадников, которых ему удалось оторвать от грабежа, и бросил их навстречу римлянам, остановившимся при неожиданном появлении врага. Даже такой неопытный в военном деле судья, как я, не мог не заметить неуверенности и колебания в наших передних рядах. Варяги же, напротив, все, как один, принялись кричать: “Алебарды, – так они на своем языке называют боевые секиры, – вперед!” – и, поскольку император милостиво уступил их доблестному желанию, бросились из арьергарда в

голову колонны. Я затрудняюсь объяснить, как был проведен этот маневр, но, несомненно, он удался благодаря мудрым указаниям моего сиятельного отца, славящегося тем, что он никогда не теряется в тяжелых положениях. Разумеется, здесь сыграло роль и желание самих воинов, ибо, насколько я могла судить, римские отряды так называемых Бессмертных столь же ревностно стремились отступить в тыл, сколь варяжская гвардия – занять освобожденное ими место в авангарде. Весь маневр был выполнен так успешно, что когда Варанес со своими арабами бросился на наше войско, он был встречен непоколебимыми северными воинами. Все это произошло на моих глазах, и, казалось бы, на них можно положиться, как на надежных свидетелей происшедших событий. Но, признаюсь, глаза мои малопривычны к подобного рода зрелищам, и атакующие отряды Варанеса представились мне в виде огромного облака пыли, стремительно несущегося нам навстречу, сквозь которое поблескивали острия копий да смутно виднелись развевающиеся перья на тюрбанах всадников. Такбир – их военный клич – был так пронзителен, что в нем тонул сопровождающий его гром литавр и медных кимвалов. Однако этот дикий и жестокий шквал встретил такое сопротивление, словно он налетел на скалу.

Варяги, не дрогнувшие под бешеным натиском арабов, обрушили на лошадей и всадников удары своих тяжелых алебард, которые обращали в бегство самых храбрых противников и повергали на землю

самых сильных. Телохранители сплачивали свои ряды, а стоявшие сзади по примеру древних македонян напирали на передних таким образом, что легконогие, но некрупные скакуны идумейцев^[62] не могли пробиться сквозь ряды этой северной фаланги. В первых рядах пали самые храбрые воины и лучшие кони. Тяжелые, хотя и короткие дротики, которые отважные варяги сильной и меткой рукой бросали из задних рядов, посеяли смятение среди нападавших, и те в страхе повернули вспять и в полном беспорядке умчались с поля боя.

Отбив, таким образом, нападение врага, мы продолжали путь и остановились только тогда, когда увидели свои разграбленные повозки. Придворные, ведавшие хозяйством императорского двора, позволили себе кое-какие недоброжелательные замечания, хотя именно им надлежало защищать эти повозки, а они бросили их при нападении неверных и вернулись только после того, как атака была отбита. Эти люди, скорые на клевету, но медлительные, когда выполнение долга грозит опасностью, доложили, что варяги постыдно нарушили дисциплину и выпили часть священного вина, предназначенного только для императорских уст. Было бы преступно отрицать, что это серьезная и заслуживающая наказания провинность; тем не менее наш царственный герой счел ее простительной, шутливо заметив, что поскольку он выпил так называемый эль своей доверенной гвардии, то варяги имеют право утолить жажду и подкрепить силы,

потраченные ими в этот день для защиты его особы, хотя они и воспользовались для этой цели священным содержимым императорских подвалов.

Тем временем конница была отправлена в погоню за отступающими арабами; ей удалось отбросить их за цепь холмов, которые еще недавно отделяли арабов от римлян, и, таким образом, можно считать, что императорская армия одержала полную и славную победу.

Нам остается упомянуть о встрече с жителями Лаодикеи, которые с крепостных стен наблюдали за изменчивым ходом битвы, переживая то страх, то надежду, и теперь спустились вниз, чтобы поздравить царственного победителя».

Но тут прекрасной царевне пришлось прервать свое чтение. Обе створки центральных дверей покоя распахнулись — бесшумно, разумеется, но так широко, что было ясно: сейчас в них появится не простой царедворец, который хочет произвести поменьше шума и никого не беспокоить, а человек, чей высокий сан позволяет ему не думать о том, что он привлечет к себе всеобщее внимание. Таковую вольность мог позволить себе только член императорской семьи, кровно с ней связанный или породнившийся, поэтому гости, знавшие, кто бывает в этом храме муз, поняли, что в столь широко распахнутые двери войдет зять Алексея Комнина и муж прекрасной летописицы, Никифор Вриенний, носивший титул кесаря. Впрочем, в отличие от предшествующих веков, этот ти-

тул уже не означал, что Вриенний является вторым человеком в империи, ибо из политических соображений Алексей отодвинул его в тень, поставив нескольких важных сановников между собой и кесарем с его старинным правом считаться вторым после императора лицом в государстве.

Глава V

*Стихии буйствуют. Не дождь веселый,
Рожденный в недрах влажного Апреля,
Не ливень из горячих губ Июля, –
Все створы неба шумно распахнулись,
И вот неисчислимые потоки
На землю с хриплым ревом устремились,
Что остановит их?*

«Потоп», поэма

Вошедший вельможа оказался греком благородной внешности; одежда его была украшена всеми возможными знаками отличия, исключая те, которые Алексей учредил только для своей собственной священной особы и для себастократора^[63], считавшегося теперь вторым человеком в империи. Никифор Вриенний находился в расцвете молодости и мужественной красоты, сделавшей союз с ним приемлемым для Анны Комнин, тогда как император считал этот брак желательным по соображениям политическим, стремясь привлечь на свою сторону могущественный род Вриенниев и превратить их в друзей и приверженцев престола.

Мы уже намекали на то, что царственная супруга Вриенния имела перед ним некоторое – весьма сомнительное – превосходство в годах. О ее литературных талантах мы уже

упоминали. Люди хорошо осведомленные отнюдь не считали, что эти почтенные преимущества помогли Анне Комнин безраздельно завладеть вниманием красавца мужа. Конечно, ее принадлежность к императорской семье препятствовала Никифору проявлять откровенное пренебрежение к ней, но, с другой стороны, род Вриенниев обладал слишком большой силой, чтобы Никифор позволил кому-либо, даже императору, оказывать на него давление.

Он, видимо, отличался способностями, ценными как в военное, так и в мирное время. Поэтому к его советам прислушивались, в его помощи нуждались, а он взамен требовал полной свободы и права распоряжаться своим временем по своему усмотрению. Порой он посещал храм муз гораздо реже, чем заслуживала, по ее собственному мнению, богиня этого храма или чем полагала императрица Ирина, защищавшая интересы своей дочери. Добродушный Алексей соблюдал в этом вопросе нейтралитет и старался по мере сил скрыть все разногласия от посторонних глаз, полагая, что удержать престол в столь беспокойной империи можно, лишь сохранив нерушимое единство в семье.

Он пожал Никифору руку, когда тот, проходя мимо его трона, преклонил перед ним в знак почтения колени. Императрица встретила зятя более натянуто и холодно, а сама прекрасная муза вообще почти не удостоила вниманием своего красавца мужа, занявшего подле нее ту свободную скамью, о которой мы уже упоминали.

Наступила неловкая пауза, во время которой зять императора, считавший, что ему обрадуются, а вместо этого встретивший столь холодный прием, попытался завести незначительный разговор с красивой рабыней Астартой, стоявшей на коленях рядом со своей госпожой. Однако этот разговор тут же был прерван царевной, приказавшей прислужнице спрятать манускрипт в предназначенный для этого ларец и собственноручно отнести его в зал Аполлона, где Анна Комнин обычно занималась, ибо храм муз был отведен только для устраиваемых ею чтений.

Император первый прервал тягостное молчание.

– Дорогой наш зять, – сказал он, – хотя время сейчас уже позднее, но ты многого лишишь себя, если позволишь нашей Анне отослать этот свиток, чтение которого столь усладило слух собравшихся; они могли бы сказать, что в пустыне цвели розы, а голые скалы источали молоко и мед – так приятно звучало описание тяжелого и опасного похода в изложении нашей дочери.

– Насколько нам дано судить, – заметила императрица, – у кесаря нет вкуса к тем утонченным занятиям, какими увлекается наша семья. В последнее время он стал редким гостем в храме муз: видимо, беседы в каком-то другом месте доставляют ему большее удовольствие.

– Я все же надеюсь, государыня, – ответил Никифор, – что мой вкус не заслуживает подобных обвинений. Но вполне естественно, что нашему августейшему отцу должны осо-

бенно нравиться молоко и мед, ибо расточают их только ради него.

Тут заговорила царица, и в тоне ее прозвучала обида красивой женщины, которая уязвлена своим возлюбленным, помнит обиду, но тем не менее не отказывается от примирения.

– Если деяния Никифора Вриенния, – сказала она, – упоминаются в этом скромном свитке пергамента реже, чем подвиги моего прославленного отца, пусть он будет справедлив и вспомнит, что таково было его собственное желание, проистекавшее то ли от скромности, которая, как с полной правотой говорят люди, лишь подчеркивает и украшает другие добродетели, то ли от справедливого неверия в способность своей жены воздать ему хвалу по достоинству.

– Тогда мы позовем обратно Астарту, – вмешалась императрица. – Она, вероятно, еще не успела отнести это прекрасное подношение в святилище Аполлона.

– С разрешения твоего императорского величества, – сказал Никифор, – пифийский бог может разгневаться^[64], если у него потребуют обратно сокровище, оценить которое может он один. Я пришел сюда, чтобы поговорить с императором о не терпящих отлагательства делах государственных, а не для того, чтобы вести литературную беседу в обществе – отмечу, кстати, довольно смешанном, поскольку среди приближенных императора я вижу простого воина-телохранителя.

– Клянусь распятием, дорогой зять, – сказал Алексей, – ты

несправедлив к этому храброму человеку. Его брат, не пощадив собственной жизни, своей доблестью завоевал нам победу под Лаодикеей, а сам он – тот англодатчанин Эдмунд... или Эдуард... или Хирвард, которому мы навсегда обязаны успехом столь победоносного дня. Да будет тебе известно, что он предстал перед нами по нашему повелению для того, чтобы восстановить в памяти моего главного телохранителя Ахилла Татия, так же как и в моей, некоторые подробности боя, которые уже несколько стерлись в ней.

– Поистине, государь, – ответил Вриенний, – я весьма сожалею, что своим вторжением в какой-то степени помешал столь важным расследованиям и как бы украл частицу света, который должен озарить события этих дней, дабы о них узнали грядущие поколения. Впрочем, я полагаю, что в отношении битвы, которой руководили сам святейший император и его великие военачальники, свидетельство государя весит больше, чем слова такого человека, как этот. Хотел бы я знать, – продолжал он, высокомерно обращаясь к варягу, – какие подробности можешь ты добавить к тем, которые были уже описаны царевной?

Варяг ответил незамедлительно:

– Я добавлю только одно: когда мы сделали остановку у родника, музыка, исполнявшаяся дамами императорского двора, и особенно теми двумя, в чьем присутствии я сейчас нахожусь, была лучшей музыкой, какую я когда-либо слышал.

– Как ты смеешь высказывать столь дерзкое суждение? – воскликнул Никифор. – Да разве музыка, которую угодно было исполнить супруге и дочери императора, предназначалась для того, чтобы каждый низкорожденный варвар, случайно услышавший ее, мог насладиться ею или подвергнуть ее критике? Убирайся вон из дворца! И не смей показываться мне на глаза, если только на то не будет воли нашего августейшего отца.

Варяг перевел взгляд на Ахилла Татия, ожидая, чтобы начальник приказал ему уйти или остаться. Но император с большим достоинством взял дело в свои руки.

– Сын наш, – сказал он, – мы не можем этого допустить. Из-за любовной ссоры с нашей дочерью ты странным образом позволяешь себе забыть, что находишься перед лицом императора, и гонишь прочь человека, которого мы пожела-ли видеть у себя. Тебе не пристало вести себя так. Запомни: нам неуютно, чтобы этот Хирвард, или Эдуард, или как там его имя, ушел сейчас отсюда, точно так же как неуютно, чтобы в будущем он подчинялся чьим-либо приказам, кроме наших или нашего аколита Ахилла Татия. А теперь, покончив с этим вздорным недоразумением, которое, несомненно, тут же развеется по ветру, мы жаждем узнать о важных государственных делах, побудивших тебя прийти сюда в столь поздний час. Ты опять смотришь на варяга. Прошу тебя, говори при нем прямо, ничего не утаивая, ибо он пользуется – и с достаточными основаниями для этого – столь же высо-

ким нашим доверием, как и любой другой советник, присягнувший на верность нашему дому.

– Слушаю и повинуюсь, – ответил зять императора, видя, что его повелитель недоволен, и зная, что в таких случаях доводить его до крайности небезопасно и неразумно. – Тем более что новость, которую я собираюсь сообщить, вскоре станет общим достоянием, и поэтому неважно, кто ее сейчас услышит. Так вот, запад, где всегда происходят странные вещи, никогда еще не слал в нашу восточную половину мира таких тревожных вестей, как те, о которых я поведаю твоему императорскому величеству. Заимствуя выражение у этой дамы, которая оказывает мне честь, именуя меня своим мужем, Европа как бы сорвалась с места и вот-вот ринется на Азию...

– Я действительно сказала так, – прервала его Анна Комнин, – и, смею надеяться, выразила свою мысль с достаточной силой, ибо тогда мы впервые услышали, что дикий порыв взметнул беспокойных европейских варваров и тысячи племен ураганом налетели на наши западные границы с неслыханным намерением, о котором они во всеуслышание заявляли, завоевать Сирию и те места, где покоятся пророки, где святые приняли мученический венец и где совершились великие события, изложенные в Священном Писании. Но, судя по всему, эта буря отшумела и утихла, и мы надеялись, что вместе с ней миновала и опасность. Мы будем глубоко опечалены, если окажется, что это не так.

– К сожалению, не так, – продолжал ее супруг. – Донесения нам не солгали: огромное скопище людей низкорослых и невежественных, взявших оружие по наущению безумного отшельника, двинулись из Германии в Венгрию, ожидая, что ради них совершатся такие же благодетельные чудеса, как для народа Израиля, когда его вел через пустыню столп огненный^[65]. Но не сыпалась манна с небес, не слетались перепела, чтобы накормить их, и никто не объявил их избранным народом Божиим. Вода не била из скалы, дабы напоить алчущих. Страдания ожесточили этих людей, и они принялись добывать себе пищу грабежом. Венгры и другие народы, проживающие на наших западных границах, такие же христиане, как они, не остановились перед тем, чтобы напасть на этот беспорядочный сброд, и только огромные груды костей в диких ущельях и безвестных пустынях остались свидетельствами безжалостного разгрома, которому подверглись эти нечестивые пилигримы.

– Но все это, – сказал император, – мы знали и раньше. Какое новое бедствие угрожает нам теперь, после того, как нас уже миновала сия страшная опасность?

– Знали раньше? – повторил кесарь Никифор. – Нет, о подлинной опасности мы ничего не знали: нам было известно лишь, что стада животных, жестоких и яростных как дикие быки, угрожали ринуться на пастбище, которое давно влекло их к себе, и что они наводнили греческую империю и ближние с ней страны, надеясь, что Палестина с ее река-

ми, полными молока и меда, вновь откроется им, как избранному Богом народу. Но такое беспорядочное и дикое нашествие не страшно столь просвещенному народу, как римляне. Стадо тупых животных испугалось греческого огня^[66]; их заманивали в западни и уничтожали ливнем стрел дикие племена, которые хотя и считают себя независимыми от нас, но прикрывают нашу границу, подобно линии укреплений. Даже пища, которую раздобывал на своем пути этот гнусный сброд, и та оказывалась губительной: император с его прозорливой политикой и отеческой заботливостью предусмотрел и такие меры обороны. Эта мудрая политика достигла цели, и корабль, над которым гремел гром и сверкали молнии, спасся, невзирая на ярость грозы. Но не успела улечься одна буря, как поднялась другая: на нас движется новый вал западных народов, такой грозный, какого никогда не видели мы или наши предки. И теперь это не чернь, голодная, неосмотрительная, невежественная и фанатичная, нет, все, что есть на просторах Европы разумного и достойного, отважного и благородного, объединилось во имя той же цели, скрепив священным обетом свой союз.

– Что же это за цель? Говори прямо, – прервал его Алексей. – Уничтожение всей нашей Римской империи, с тем чтобы даже имя ее государя было вычеркнуто из списка коронованных особ мира, среди которых оно так долго было первым, – только такая цель смогла бы объединить всех в подобный союз.

– Открыто о таком замысле никто не заявляет, – ответил Никифор. – Все эти владыки, мудрецы и прославленные вельможи ставят перед собой, по их утверждению, ту же неправдоподобную цель, что и полчища невежественной черни, которые первыми появились в наших местах. Вот у меня, милостивый император, свиток, в котором ты найдешь перечисление армий, по разным дорогам движущихся на нашу страну. Гуго де Вермандуа^[67], за доблесть прозванный Великим, отплыл от берегов Италии. Уже прибыли двадцать рыцарей, закованных в стальные выложенные золотом латы, и передали от него следующее надменное приветствие: «Пусть император Греции и его военачальники знают, что Гуго, граф Вермандуа, приближается к его землям. Он брат короля королей – государя Франции^{11[68]} и сопровождает его цвет французской знати. С ним благословенное знамя святого Петра^[69], врученное его победоносному попечению самим наместником апостола, и он предупреждает тебя об этом, чтобы ты мог устроить ему прием, приличествующий его сану».

– Слова громкие, – сказал император, – но не всегда топят корабли тот ветер, который громче других завывает в сна-

¹¹ Дюканж прибегает к свидетельству бесконечного числа авторитетов, дабы показать, что король Франции в те дни преимущественно именовался Rex. См. его заметки об «Алексиаде». Анна Комнин в своей истории заставляет Гуго Вермандуа присваивать себе титулы, на которые мог претендовать, по мнению восторженного француза, лишь его старший брат, царствующий император. (*Примеч. авт.*)

стях. Мы немного знакомы с французами и весьма наслышаны о них. Они скорее спесивы, чем доблестны, и мы будем лстить их тщеславию, пока не выиграем время и не найдем возможностей для более надежной обороны. Да, если бы словами можно было расплачиваться, наша казна никогда не оскудела бы... Что там написано дальше, Никифор? Имена людей, сопровождающих этого великого графа?

– Нет, мой государь, – ответил Никифор Вриенний, – тут перечислены лишь имена владык, а не подчиненных, и сколько в списке этих имен, столько независимых друг от друга армий движутся по разным дорогам на восток, провозглашая общей своей целью завоевание Палестины у неверных.

– Перечень устрашающий, – промолвил император, внимательно изучив список. – Однако нас обнадеживает именно его длина, ибо столь необычный замысел не может объединить в прочный и нерушимый союз такое множество государей. Я вижу здесь хорошо знакомое имя нашего старого друга, а ныне врага – ибо таковы превратности войны и мира – Боэмунда Антиохийского. Разве он не сын знаменитого Роберта Апулийского, который, будучи простым рыцарем, возвысился до звания великого герцога, повелителя своих воинственных соотечественников в Сицилии и Италии? Разве знамена германского императора и Папы Римского, как, впрочем, и наши собственные, не отступали перед ним, пока этот изворотливый политик и храбрый рыцарь не стал наво-

дить ужас на всю Европу, он, в чьем нормандском замке поместилось бы не больше шести лучников и стольких же копейщиков? Это страшная семья, в равной мере коварная и могущественная. Боэмунд, сын старого Роберта, будет следовать политике своего отца. Он может сколько угодно говорить о Палестине и об интересах христианства, но если я сумею сделать так, чтобы его интересы совпали с моими, вряд ли он станет преследовать какие-либо другие цели. Итак, поскольку мне уже известны его желания и замыслы, возможно, что небо под личиной врага посылает нам союзника... Кто там следующий? Готфрид¹², герцог Бульонский^[70], во главе мощного отряда с берегов огромной реки, называемой Рейном. Что это за человек?

– Насколько мы слышали, – ответил Никифор, – Готфрид – один из самых мудрых, самых благородных и самых храбрых вождей, принимающих участие в этом странном деле; и среди правителей, число которых не меньше числа тех, кто осаждал Трою, и в большинстве своем ведущих за собой в десять раз более многочисленные отряды, этот Готфрид может считаться Агамемноном^[71]. Государи и графы уважают его, потому что он – первый среди тех, кого они так странно именуют рыцарями, а также потому, что все его деяния отмечены печатью честности и благородства. Духовен-

¹² Готфрид Бульонский, герцог Нижней Лотарингии, – выдающийся полководец, командовавший первым Крестовым походом, впоследствии король Иерусалимский. См. у Гиббона или Миллса. (*Примеч. авт.*)

ство чтит его за твердую приверженность религии и за уважение к церкви и ее служителям. Справедливость, щедрость, прямотушие привлекают к нему и простых людей. Готфрид неколебим в том, что считает своим нравственным долгом, поэтому никто не сомневается в искренности его веры; будучи наделен такими превосходными качествами, он справедливо считается одним из предводителей этого Крестового похода, хотя по званию, рождению и власти уступает многим его вождям.

– Жаль, – заметил император, – что такой человек, каким ты его описал, подвержен фанатизму, подобающему разве что Петру Пустыннику, или бессмысленной толпе, которую он вел за собой, или даже ослу, на котором он путешествовал! Впрочем, я готов думать, что этот осел был самым мудрым из всего скопища участников первого нашествия, поскольку он пустился вскачь в сторону Европы, как только ему стало не хватать воды и ячменя.

– Если мне будет дозволено говорить, не расставаясь с жизнью, – вставил Агеласт, – я бы добавил, что сам патриарх сделал то же самое, как только стрел вокруг стало много, а еды мало.

– Это ты правильно заметил, Агеласт, – сказал император, – но сейчас надо решить, нельзя ли образовать сулящее выгоду и почет княжество из тех провинций Малой Азии, которые были разграблены за последнее время турками. Думается, что такое княжество с его неоспоримыми преимуще-

ствами – плодородной почвой, прекрасным климатом, трудолюбивым населением и здоровым воздухом – стоит болот Булони. Если оно будет зависеть от Священной Римской империи и в то же время находиться под защитой Готфрида и его победоносных франков, оно может стать оплотом в том краю для нашей праведной и священной особы. Что об этом скажет святейший патриарх? Не считает ли он, что такое предложение охладит склонность самого преданного крестоносца к выжженным солнцем пескам Палестины?

– Особенно. – ответил патриарх, – если тот, кто получит такую богатую провинцию в феодальное владение, предварительно будет обращен в единственно истинную веру, о чем, несомненно, ты не забываешь, милостивый император.

– Разумеется, разумеется, – ответил Алексей с подобающим случаю пафосом, хотя про себя-то он знал, как часто во имя государственных интересов он вынужден был принимать в свое подданство не только латинских христиан, но и манихеев и других еретиков, не говоря уже о варварах-мусульманах, никогда при этом не встречая сопротивления со стороны щепетильного патриарха. – Судя по этому списку, – продолжал он, – столько отрядов во главе с влиятельными государями и вельможами движется к нашим границам, что они могут соперничать с армиями древних, которые, по преданию, выпивали на своем пути реки, опустошали страны, вытаптывали леса.

При этих словах лицо императора тронула та же тень тре-

воги, которая уже омрачила лица его советников.

– Эта война народов, – сказал Никифор, – во многом отличается от любой другой войны, исключая разве ту, которую ты, мой государь, вел в прошлом с так называемыми франками. Нам предстоит помериться силами с людьми, для которых грохот битвы необходим как воздух. Ради того, чтобы воевать, они готовы сражаться с ближайшими своими соседями, кровавые поединки для них такая же забава, как для нас – состязание на колесницах. Они закованы в непроницаемую стальную броню, защищающую их от копий и мечей, а их могучие кони легко несут на себе эту огромную тяжесть, которая для наших была бы так же непосильна, как гора Олимп. Их пехота вооружена не простыми луками, а неизвестными нам и другим народам арбалетами. Тетиву арбалета натягивают не правой рукой, а ногою, налегая на нее при этом всей тяжестью тела. Стрелы, вернее – дротики, для этого лука сделаны из прочного дерева, имеют металлические наконечники и пробивают на лету самые прочные нагрудники и даже каменные стены, если они не слишком толсты.

– Довольно, – прервал его император, – мы собственными глазами видели копья франкских рыцарей и арбалеты их пеших воинов. Если небо наделило франков храбростью, которая другим народам кажется почти сверхъестественной, то грекам оно даровало мудрость, отказав в ней варварам. Мы добиваемся победы не грубой силой, а мудрым расчетом и

ведем переговоры так искусно, что получаем большие преимущества, чем может дать даже военный успех. И если у нас нет того страшного оружия, которое наш зять называл арбалетом, зато Провидение в своем милосердии скрыло от западных варваров тайну состава и применения греческого огня, именуемого так потому, что только руки греков умеют его изготавливать и обращать его молнии против ошеломленного врага.

Сделав паузу, император окинул взглядом лица своих советников и, хотя они были по-прежнему бледны, бодро продолжал:

– Вернемся, однако, к этому мрачному списку, содержащему перечень тех, кто продвигается к нашим границам; насколько нам подсказывает память, в нем немало знакомых имен, хотя воспоминания наши смутны и стерты временем. Нам важно узнать, кто они, чтобы мы могли извлечь выгоду из их междоусобиц и ссор, которые, будучи вызваны к жизни, отвлекут этих людей от того необычного замысла, ради которого они объединились. Здесь есть, например, некий Роберт, носящий титул герцога Нормандского^[72], который ведет за собой немалый отряд графов – с этим титулом мы слишком хорошо знакомы – и эрлов^[73] – звание нам неизвестное, но, видимо, почетное среди варваров и рыцарей, чьи имена говорят о том, что больше всего среди них франков, но есть представители и других племен, нам неведомых. За разъяснениями по этому поводу всего разумнее нам об-

ратиться к нашему высокочтимому и высокоученому патриарху.

– Обязанности, налагаемые моим саном, не позволяли мне в зрелые мои годы заниматься историей дальних государств, – ответил патриарх Зосима, – но мудрый Агеласт, прочитавший столько книг, что, собранные вместе, они заняли бы все полки знаменитой Александрийской библиотеки^[74], без сомнения, сможет ответить на вопрос твоего императорского величества.

Агеласт выпрямился на своих неустойчивых ногах, благодаря которым был прозван Слоном, и начал отвечать на вопрос императора, проявляя при этом больше доброй воли, нежели знаний.

– В том замечательном зеркале, – сказал он, – которое отражает дела и жизнь наших предков, в трудах высокоученого Прокопия^[75], я прочитал, что народы, именуемые норманнами и англами, в действительности происходят от одного племени и что Нормандия, как ее иногда называют, является частью Галлии. Напротив нее, совсем близко, отделенный лишь морским проливом, расположен мрачный остров, царство туманов и бурь, куда, по утверждению жителей континента, отправляются души умерших. По эту сторону пролива живут немногочисленные рыбаки, которым дана какая-то странная хартия, а вместе с ней и единственная в своем роде привилегия: будучи живыми людьми, они, как некогда языческий Харон, перевозят души умерших на остров – обита-

лице теней. Под прикрытием ночного мрака рыбаки по очереди вершат то, ради чего им и дозволено жить на этом таинственном берегу. Чья-то бесплотная рука стучит в дверь того, кто должен нести в эту ночь небывалую службу. Шепот, подобный еле слышному вздоху ветра, призывает рыбака исполнить свой долг. Он спешит к лодке, но до тех пор не отплывает, пока не убеждается, что она осела, словно под тяжестью умерших, которые взошли на нее. Никого не видно, слышны только голоса, но слов разобрать невозможно, точно кто-то бормочет во сне. Рыбак пересекает пролив, отделяющий материк от острова, испытывая непонятный ужас, всегда охватывающий живых, когда они ощущают присутствие мертвых. Он добирается до противоположного берега, где белые меловые скалы образуют поразительный контраст с вечным мраком, царящим там, причаливает всегда в одном и том же месте, но сам из лодки не вылезает, ибо на эту землю никогда не ступала нога живого человека. Тени умерших, сойдя на берег, отправляются в назначенный им путь, а лодочник медленно возвращается на свою сторону пролива, выполнив, таким образом, повинность, которая дает ему возможность ловить рыбу сетями и жить в этом удивительном месте.

Агеласт сделал паузу, и тут снова заговорил император:

– Если эта легенда действительно рассказана Прокопием, высокоученый Агеласт, то это означает только одно: в вопросе о загробной жизни знаменитый ученый оказался гораз-

до ближе к язычникам, чем к христианам. Ведь его рассказ мало чем отличается от древнего поверья о потустороннем Стиксе^[76]. Прокопий, как известно, жил тогда, когда язычество еще процветало, и равно как мы отказываемся верить многому из того, что он поведал нам о нашем предке и предшественнике Юстиниане^[77], точно так же в дальнейшем мы всегда будем сомневаться в основательности его географических познаний. Кстати, что тебя так тревожит, Ахилл Татий, и о чем ты шепчешься с этим воином?

– Моя жизнь, – ответил Ахилл Татий, – принадлежит твоей императорской милости, и я готов отдать ее в уплату за непристойную болтливость моего языка. Я только спросил этого Хирварда, что он знает о норманнах, ибо слышал, как мои варяги неоднократно называли друг друга англо-датчанами, норманнами, британцами и всякими другими варварскими именами, и думаю, что одно из этих странных названий, а может, и все они по-разному обозначают родину изгнанников, которые должны быть счастливы, вырвавшись из мрака невежества и оказавшись в кругу сияния твоего императорского величества.

– Так говори же, варяг, во имя неба, – сказал император, – и открой нам, друзей или врагов увидим мы в лице этих людей из Нормандии, подступающих к нашим границам. Говори смело, тебе нечего опасаться, ибо ты служишь государю, который в силах защитить тебя.

– Раз уж мне позволили говорить, то я скажу, – ответил

варяг. – Правда, я не очень хорошо знаю греческий язык, который вы называете римским, но все же моих знаний довольно, чтобы обратиться к его императорскому величеству с просьбой: вместо платы, подарков или наград, которые император соизволил обещать мне, пусть он поставит меня в первые ряды войска, которое сразится с этими норманнами и их герцогом Робертом, и если император разрешит мне взять с собой варягов, которые, любя ли меня, ненавидя ли своих прежних тиранов, захотят присоединиться ко мне, то не сомневаюсь: мы так сведем с ними счеты, что последнюю службу им уже сослужат греческие орлы и волки, отодрав их мясо от костей.

– Чем вызвана такая необузданная ненависть, мой воин, – спросил император, – которая после стольких лет будит в тебе ярость при одном лишь упоминании о Нормандии?

– Суди сам, милостивый император, – ответил варяг. – Мои предки и предки большинства из тех, кто служит сейчас вместе со мной в гвардии, происходят из доблестного племени, жившего на севере Германии и именовавшегося англосаксонским. Никто, за исключением разве что священников, умеющих читать древние хроники, не знает, как давно переселились наши праотцы на остров Британия, где шла тогда междоусобная война. Англы явились туда по просьбе исконных жителей острова, вернее – той их части, которая обитала на южном побережье. В вознаграждение за щедро оказанную помощь им даровали там земли, и постепенно большая часть

острова перешла в собственность к англосаксам, которые поначалу образовали несколько владений, а позднее создали единое королевство, где население подчинялось единым законам и говорило на том языке, на каком говорит большинство варягов-изгнанников, составляющих теперь твою императорскую гвардию телохранителей. Прошло время – и вот в этих краях появились норманны, северные люди. Их стали называть так потому, что они приплыли с далеких берегов Балтийского моря, чьи необозримые просторы временами покрываются льдом, крепким, как скалы Кавказа. Они искали страну с более мягким климатом, чем тот, на который обрекла природа их родину. Климат во Франции оказался превосходным, а народ ее – не очень воинственным; пришельцы отняли у них большую провинцию, которая и была названа Нормандией, хотя я слышал, как мой отец говорил, что раньше она называлась иначе. Они обосновались там под властью герцога, который признал верховную власть короля Франции над собой, а означало это лишь то, что он подчинялся ему, когда подчиняться было выгодно и удобно.

С тех пор прошло много лет, и все это время оба народа, норманны и англосаксы, мирно уживались на разных берегах морского пролива, отделяющего Францию от Англии, как вдруг Вильгельм, герцог Нормандии, собрал сильную армию, высадился в Кенте, на противоположном берегу пролива, и в великой битве разбил Гарольда, бывшего в то время королем англосаксов. Тяжело рассказывать о том, что про-

изошло после этого. И в старые времена бывали битвы, приносившие ужасные бедствия, которые тем не менее сглаживались с годами, но в битве при Гастингсе – о горе мне! – знамя моей родины рухнуло и никогда больше не воспряло. Угнетение своими колесами раздавило нас. Все, в ком билось доблестное сердце, покинули родной край, и в Англии остались лишь те англичане – ибо только так следует называть нас, – которые согласились стать рабами захватчиков. Нашу горестную участь разделили и те датчане, которые по разным причинам перебрались в Англию. Победители опустошили страну. Дом моего отца лежит в развалинах, окруженный густым лесом, разросшимся там, где раньше были прекрасные поля и пастбища и где мужественный народ добывал себе средства к жизни, возделывая благодатную почву. Огонь уничтожил церковь, где покоится прах моих предков, и я, последний в своем роду, скитаюсь по чужим странам, сражаюсь в чужих битвах, служу хотя и доброму, но чужому хозяину, одним словом – я изгнанник, варяг.

– И более счастлив сейчас, – вмешался Ахилл Татий, – чем если бы жил в варварской простоте, которую так ценили твои предки, ибо теперь ты находишься под благодатным солнцем улыбки, дарующей миру жизнь.

– Не стоит об этом говорить, – холодно возразил варяг.

– Значит, норманны и есть тот народ, – спросил император, – который захватил и подчинил себе славный остров Британия?

– Увы, это так, – ответил варяг.

– Выходит, они воинственные и храбрые люди? – продолжал расспросы Алексей.

– С моей стороны, – сказал Хирвард, – было бы низко и лживо говорить о врагах иначе. Они причинили мне зло, и зло это никогда не будет забыто, но говорить о них неправду было бы женской мстостью. Они – мои смертельные враги, и имя их всегда будет связано для меня с тяжкими и ненавистными воспоминаниями, но если собрать войска всех стран Европы – а сейчас как будто именно так и произошло, – то ни один народ и ни одно племя по храбрости своей не сравнится с надменными норманнами.

– А герцог Роберт – кто он такой?

– На этот вопрос мне ответить труднее, – сказал варяг. – Он сын – старший сын – жестокого Вильгельма, который подчинил себе Англию, когда меня и на свете-то не было или я был еще в колыбели. Этот Вильгельм, победитель в битве при Гастингсе, Уже умер – мы знаем об этом из достоверных источников; и в то время как его старший сын, герцог Роберт, получил в наследство герцогство Нормандия, кто-то из других его сыновей оказался настолько счастливым, что взошел на английский трон, если, конечно, это замечательное королевство не было разделено между наследниками тирана, подобно маленькой ферме какого-нибудь неизвестного йомена.

– Насчет этого у нас тоже есть кое-какие сведения, и мы

постараемся на досуге сопоставить их с рассказом нашего воина, к которому мы склонны отнести с полным доверием, ибо говорил он только то, что было ему доподлинно известно. А теперь, мои мудрые и достойные советники, пора нам кончить сегодняшнее наше служение в храме муз: удручающие известия, которые принес нам наш дорогой зять, прославленный кесарь, заставили нас затянуть поклонение этим ученым богиням до глубокой ночи, а это не полезно для здоровья нашей возлюбленной жены и дочери; что же касается нас, то сообщение кесаря требует нашего серьезного размышления.

Придворные тут же стали расточать на редкость изобретательную, изощренную лесть, выражая надежду на то, что столь затянувшееся бодрствование не повлечет за собой дурных последствий.

Никифор и его прекрасная супруга разговаривали друг с другом, как обычно разговаривают муж и жена, когда оба хотят загладить мимолетную размолвку.

– Мой кесарь, – сказала царица, – излагая эти ужасные события, ты нашел для иных подробностей столь изысканные выражения, словно все девять муз, которым посвящен этот храм, помогали тебе облекать в слова твои мысли.

– Мне не нужна их помощь, – ответил Никифор, – ибо у меня есть собственная муза, обладающая талантами, которые язычники тщетно пытались приписать девяти парнасским богиням.

– Это очень мило сказано, – заметила прелестная служительница муз, опираясь на руку мужа и выходя вместе с ним из зала, – но если ты будешь награждать свою жену похвалами, во много раз превышающими ее достоинства, тебе придется предложить ей руку, чтобы помочь нести бремя, которое ты соблаговолил возложить на нее.

Как только царственные особы удалились, все придворные тоже разошлись, и большинство из них поспешило отправиться в общество менее достойное, но более непринужденное, чтобы вознаградить себя за чопорную благопристойность, которую им приходилось хранить в храме муз.

Глава VI

*Вольно тебе, тщеславный человек,
Любимую своею похвалиться:
Пускай она в себе соединяет
Духовную с телесной красотой,
Но женищиной прекрасной из прекрасных
Ты все же не дерзнешь ее назвать,
Пока на свете существует та,
Которой я поклонник и певец.*

Старинная пьеса

Ахилл Татий вместе со своим верным варягом, неотступно следовавшим за ним, ускользнули от расходящегося общества так тихо и неприметно, как исчезает снег со склонов Альпийских гор при наступлении солнечных дней. Их уход не сопровождался ни гулом шагов, ни бряцанием оружия. Не полагалось подчеркивать существование охраны во дворце, более того – принято было считать, что греческий император, это божество среди земных владык, окружен ореолом недоступности и неуязвимости. Поэтому старейшие и наиболее опытные царедворцы, среди которых не последнее место занимал наш друг Агеласт, предпочитали утверждать, что хотя император и пользуется услугами варягов и иной стражи, делается это скорее ради соблюдения этикета, чем из страха перед таким чудовищным и даже с точки зрения хо-

рошего тона немислимым преступлением, как покушение на царя. Молва о необычайной редкости таких случаев переходила из уст в уста в тех самых покаях, где подобные преступления совершались довольно часто, и порою повторяли ее именно те люди, которые только и думали, как бы им свергнуть правящего императора.

Наконец начальник телохранителей и его верный спутник выбрались из стен Влахернского дворца. Варяг, охранявший потайную дверь, через которую Ахилл вывел Хирварда, захлопнул ее за ними и закрыл на засовы, издавшие при этом зловеший скрежет. Оглянувшись на бесчисленные башни, зубчатые стены и шпили, Хирвард невольно испытал облегчение: над ним снова было темно-синее небо Греции, на котором необычайно ярко светились звезды. Он вздохнул полной грудью и с удовольствием потер руки, как человек, вновь обретший свободу. Вопреки своему правилу никогда не заговаривать первым, он на этот раз сам обратился к своему начальнику:

– Скажу тебе так, доблестный начальник, – конечно, воздух в этих покаях пропитан благовониями, и они, быть может, даже приятны, но уж до того удушливы, что подходят больше для усыпальницы, чем для человеческого жилья. Я счастлив, что не должен дышать этим воздухом.

– Ну что ж, – ответил Ахилл Татий, – твое счастье, что твоя низменная и грубая душа задыхается там, где освежающий ветерок не только не может быть причиной смерти, но,

напротив того, возвращает мертвым жизнь. Однако должен тебе сказать, Хирвард, что хотя ты родился варваром и тебе знаком лишь узкий круг дикарских потребностей и удовольствий, а другая жизнь, отличная от этого грубого и жалкого существования, неизвестна, тем не менее природа уготовила тебе иной, лучший удел: сегодня ты прошел через такое испытание, какого, боюсь, не выдержал бы ни один воин даже нашей благородной гвардии, ибо все они погрязли в безысходном варварстве. А теперь скажи по правде: разве ты не был вознагражден?

– Этого я не стану отрицать, – сказал варяг. – Я на двадцать четыре часа раньше своих товарищей узнал, что норманны двинутся сюда, и, таким образом, мы сможем сполна отомстить им за кровавый день битвы при Гастингсе. Столь великая радость стоит того, чтобы несколько часов подряд слушать бесконечную болтовню дамы, которая пишет о том, чего она не знает, и льстивые замечания окружающих, которые рассказывают ей о том, чего они не видели.

– Хирвард, юный мой друг, – сказал Ахилл Татий, – ты бредишь, и, я думаю, мне следовало бы приставить к тебе для присмотра опытного человека. Слишком большая смелость, мой доблестный воин, у трезвого человека граничит с дерзостью. Вполне понятно, что происшествия сегодняшнего вечера наполнили тебя гордостью, но если к этой гордости примешается тщеславие, ты немедленно станешь подобен умалишенному. Посуди сам: ведь ты бесстрашно смотрел в лицо

порфирородной царевне, тогда как мои собственные глаза, привыкшие к подобным зрелищам, никогда не поднимались выше складок ее покрывала.

– Да будет так! – ответил Хирвард. – Но ведь красивые женские лица для того и созданы, чтобы их созерцать, а глаза молодых мужчин – чтобы на них смотреть.

– Если они действительно созданы для этого, – сказал Ахилл, – то, должен признать, более чем оправдано твое дерзновенное желание смотреть на царевну.

– Мой добрый начальник, или, если так тебе больше нравится, главный телохранитель, – сказал англосакс, – не доводите до крайности простого человека, который хочет честно выполнять свой долг по отношению к императорской семье. Царевна – жена кесаря и рождена, как ты сам сказал, в порфире; тем не менее она очень красивая женщина, сочиняет историю, о которой я предпочел бы не говорить, поскольку такие вещи недоступны моему пониманию, и поет как ангел; наконец, могу сказать, следуя моде нынешних рыцарей, хотя обычно я не пользуюсь их выражениями, что готов сразиться с любым, кто посмеет вслух умалять красоту или ум царственной особы Анны Комнин. Таким образом, мой благородный начальник, мы исчерпали все, о чем ты мог бы спросить меня и на что я захотел бы тебе ответить. Нет сомнения, что есть женщины более красивые, чем царевна, и я меньше чем кто-либо сомневаюсь в этом, ибо знаю особу, которая, как я считаю, далеко превосходит ее красотой. На этом за-

кончим наш разговор.

– Твоя красотка, мой несравненный дурачок, – сказал Ахилл, – должно быть, дочка какого-нибудь здорового северного мужлана, живущего по соседству с фермой, на которой вырос такой осел, как ты, наделенный непотребным желанием высказывать свои суждения.

– Говори все, что тебе нравится, начальник, – ответил Хирвард, – потому что, к счастью для нас обоих, ты не в состоянии оскорбить меня, ибо я ценю твое суждение не выше, чем ты ценишь мое; не можешь ты также унижить особу, которую в глаза не видел, но если бы ты ее видел, вряд ли я так терпеливо выслушивал бы замечания на ее счет даже от своего начальника.

Ахилл Татий в достаточной мере обладал сообразительностью, необходимой для человека в его положении. Он никогда не доводил отчаянные головы, которыми командовал, до крайности и в своих вольностях с ними никогда не переходил границ их терпения. Хирвард был его любимцем, и уже хотя бы по этой причине аколит пользовался уважением и искренней приязнью своего подчиненного; поэтому, когда главный телохранитель, вместо того чтобы возмутиться дерзостью варяга, добродушно извинился за то, что затронул его чувства, минутное недоразумение между ними было тут же забыто. Главный телохранитель сразу напустил на себя начальственный вид, а воин с глубоким вздохом, относившимся к его далекому прошлому, снова стал сдержан и молча-

лив, как прежде. Дело заключалось еще и в том, что у главного телохранителя были особые, далеко идущие замыслы в отношении Хирварда, о которых он не хотел пока говорить иначе, как самыми отдаленными намеками.

После длительной паузы, в течение которой они успели дойти до казармы – мрачного укрепленного строения, предназначенного для варяжской гвардии, – начальник знаком приказал воину подойти поближе и доверительным тоном спросил его:

– Хирвард, друг мой, хотя и трудно предположить, что в присутствии императорской семьи ты обратил внимание на кого-либо, в чьих жилах не течет царская кровь или, как говорит Гомер, не струится божественная влага, заменяющая священным особам грубую жидкость, именуемую кровью, но, может быть, ты все-таки во время этой длительной аудиенции заметил человека необычной для придворных внешности и одетого иначе, чем остальные, человека, которого зовут Агеласт, а мы, царедворцы, кличем Слоном за его неукоснительное соблюдение правила, запрещающего кому бы то ни было садиться или отдыхать в присутствии императорской семьи?

– Я думаю, – ответил варяг, – что помню того, о ком ты говоришь. Лет ему семьдесят или даже больше, он высокого роста и толстый, большая лысина вполне возмещается длинной и кудрявой седой бородой, спадающей ему на грудь до самого полотенца, которым он подпоясан, тогда как осталь-

ные придворные носят шелковые пояса.

– Ты совершенно точно описал его, варяг, – сказал Ахилл. – А что еще в нем привлекло твое внимание?

– Его плащ сшит из грубой ткани, как у последнего простолюдина, но отличается безукоризненной чистотой, как будто этот человек хотел выставить напоказ свою бедность или презрительное равнодушие к одежде, не вызвав в то же время отвращения своей неопрятностью.

– Клянусь святой Софией, – воскликнул главный телохранитель, – ты меня поражаешь! Даже пророк Валаам был меньше удивлен, когда его ослица повернула к нему голову и заговорила с ним^[78]. Что же еще ты можешь сказать об этом человеке? Я вижу, что люди, которые встречаются с тобой, должны опасаться твоей наблюдательности не меньше, чем алебарды.

– Если угодно твоей доблести, – ответил воин, – у нас, у англичан, есть не только руки, но и глаза, но мы позволяем себе говорить о том, что замечаем, только когда этого требует наш долг. Я не вслушивался в разговоры этого старика, но кое-что долетело до меня, и я понял, что он не прочь разыгрывать из себя, как мы это называем, шута или дурачка, а в его возрасте и при его внешности такое поведение, смею сказать, малоприсстойно и, скорее всего, говорит о том, что он преследует более далекие цели.

– Хирвард, ты сейчас говоришь, как ангел, спустившийся на землю, чтобы читать в сердцах смертных. На свете мало

столь противоречивых людей, как этот Агеласт. Обладая разумом, который в былые времена равнял мудрецов этой страны с самими богами, Агеласт при этом еще и хитер, как старший Брут^[79], скрывавший свои таланты под личиной бездельника и шута. Он как будто не ищет должностей, не стремится занять видное положение, ко двору является, только когда его туда требуют, но что сказать, мой воин, о влиянии, которого он достигает без всяких видимых усилий, словно воздействуя на мысли людей и заставляя их поступать так, как ему нужно, хотя сам он никогда ни о чем не просит? Ходят странные слухи о его общении с существами потусторонними, которым наши предки молились и приносили жертвы. Однако я решил выведать, что это за лестница, по которой он так быстро и легко поднимается к вершине – средоточию помыслов всех придворных. Одно из двух: либо он потеснится и даст мне местечко на ней, либо я выбью ее у него из-под ног. Тебя, Хирвард, я избрал себе в помощники, подобно тому как нечестивые рыцари-франки, отправляясь искать приключений, избирают сильного оруженосца или слугу и делят с ним опасности и награды. Я остановил свой выбор на тебе, потому что ты проявил сегодня редкую проницательность, а также из-за твоей храбрости, равной храбрости твоих товарищей или даже превосходящей ее.

– Я польщен и благодарен тебе, – ответил варяг, быть может несколько холоднее, чем того ожидал его начальник, – и буду, как велит мне долг, служить тебе в любом деле, угод-

ном Богу и не противоречащем моим обязанностям на службе императору. Я хочу только добавить, что, как воин, приносивший присягу, я ни в чем не нарушу законов империи; что касается языческих богов, то как ревностный, хотя и невежественный христианин, я готов бросить им вызов именем безгрешных праведников, а других дел с ними иметь не желаю.

– Глупец! – воскликнул Ахилл Татий. – Неужели ты думаешь, что я, уже занимающий одно из первых мест в империи, могу замыслить что-либо, противоречащее интересам Алексея Комнина? Или – что было бы даже еще ужаснее – неужели ты можешь заподозрить, что я, близкий друг и союзник досточтимого патриарха Зосимы, буду вмешиваться в какие-то дела, имеющие хотя бы самое отдаленное отношение к ереси или к идолопоклонничеству?

– По правде говоря, – ответил варяг, – никто не был бы так удивлен и огорчен этим, как я, но когда мы пробираемся по лабиринту, мы должны твердо знать и постоянно твердить себе, что у нас есть ясная цель впереди, – только тогда мы не собьемся с верного пути. Люди в этой стране выражают одно и то же столь разными словами, что в конце концов перестанешь понимать, о чем они говорят. Мы, англичане, напротив, можем выразить нашу мысль только одним способом, но зато самые изобретательные в мире люди не в силах извлечь другой смысл из наших слов.

– Ну хорошо, – сказал главный телохранитель, – завтра мы

с тобой поговорим подробнее; для этого ты придешь ко мне вскоре после захода солнца. И помни, пока солнце не скроется, время принадлежит тебе, можешь развлекаться или отдыхать. Мой тебе совет – лучше отдыхай, поскольку вечером нам обоим, быть может, снова придется быть на страже.

С этими словами они вошли в казарму и расстались – начальник телохранителей прошествовал в роскошные покои, которые он занимал, а англосакс направился в свое более скромное помещение, отведенное нижним чинам гвардии телохранителей.

Глава VII

*Не больше было северных дружин
Во стане Агрикана в день^[80], когда
Альбракку, град великий Галлафрона,
Он, по преданью, осадил, желая
Похитить Анжелику, о которой
Все доблестные рыцари мечтали,
Язычники и даже пэры Карла.*

«Возвращенный рай»^[81]

Наутро после описанного нами дня собрался на заседание императорский совет; его многочисленные члены – сановники с пышными званиями – должны были прикрывать, подобно легкой вуали, очевидную всем слабость греческой империи. Военачальников было множество, различия в их чинах разработаны до тонкостей, но простых воинов было сравнительно очень мало.

Должности, некогда исполнявшиеся префектами^[82], преторами^[83] и квесторами^[84], занимали прислужники императора, которые, именно в силу своей близости к этому деспотическому двору, обладали особенно большой властью. Сейчас они длинной вереницей входили в просторную приемную Влахернского дворца и затем следовали до того места, которое соответствовало их чину. Таким образом, в каждом

из смежных покоев задерживались те, чей ранг был недостаточно высок, чтобы идти дальше, и только пять человек, миновав десять залов, дошли до внутреннего приемного зала — этой святая святых империи, убранной с обычной для тех времен роскошью. Там их ждал сам император.

Император Алексей восседал на величественном троне, богато отделанном привозными самоцветами и золотом; по обеим сторонам трона, вероятно в подражание великолепию царя Соломона^[85], были расположены фигуры лежащих львов, сделанные из того же драгоценного металла. Не упоминая о других предметах роскоши, скажем только, что ствол дерева, простиравшего над троном свои ветви, также, видимо, был отлит из золота. На ветвях сидели диковинные птицы из финифти, а в листве сверкали плоды из драгоценных камней. Только пять высших сановников империи пользовались привилегией допуска в это святилище, когда император созывал совет. Это были: великий домоestik, который по положению своему являлся чем-то вроде современного премьер-министра; логофет, или, другими словами, канцлер; уже упоминавшийся протоспафарий, или главнокомандующий; аколит, или главный телохранитель, начальник варяжской гвардии; патриарх.

Передняя и двери этого тайного покоя охранялись шестью искалеченными нубийскими рабами, чьи сморщенные, безобразные лица представляли ужасающий контраст с белоснежными одеждами и роскошным вооружением. Они бы-

ли немые, эти несчастные, которым по обычаю, заимствованному у восточных деспотий, отрезали языки, чтобы они не могли рассказать о делах тирана, чьи веления безжалостно выполняли. На них взирали скорее с ужасом, нежели с жалостью, ибо считалось, что эти рабы испытывают злобное наслаждение, нанося другим непоправимые увечья, навеки отделившие их самих от всего человечества.

По сложившемуся обычаю – он, как и многие другие обыкновения греков, был бы сочтен в наши дни пустым ребячеством, – при появлении в этом покое постороннего человека в действие приводился несложный механизм, и тогда львы, издавая рык, приподнимались, легкий ветерок пробежал по листве деревьев, птицы начинали прыгать с ветки на ветку, клевать плоды и громко щебетать. Такое зрелище пугало многих простодушных чужеземных послов, и даже греки – советники императора, услышав рычание львов и вслед за ним чириканье птиц, должны были неуклонно изображать испуг, а затем удивление, хотя уже неоднократно наблюдали все это. Но на этот раз – свидетельство чрезвычайности заседания – упомянутая церемония была отменена.

Речь императора поначалу напоминала львиный рык, но конец ее скорее был похож на птичий щебет.

Сперва он заклеил дерзость и неслыханную наглость миллионов франков, посмеявшихся под предлогом освобождения Палестины от неверных вторгнуться в священные пределы империи. Он угрожал им суровыми карами, которым,

несомненно, их подвергнут его, Алексея, бесчисленные войска и военачальники. При этих словах собравшиеся, особенно военные, выразили свое полное согласие с императором.

Однако Алексей недолго настаивал на своих воинственных намерениях, о которых заявил вначале. Он стал рассуждать о том, что франки, в общем, тоже христиане. Быть может, они искренне верят в этот свой Крестовый поход, а если так, то, хотя они и ошибаются, к их побуждениям следует отнестись более снисходительно и даже с некоторым уважением. Численность участников Крестового похода огромна, а что касается храбрости, люди, видевшие, как они сражались в Дураццо^{13[86]} и в других местах, не могут ее недооценивать. Кроме того, если на то будет воля Провидения, франки в конце концов могут сослужить службу Священной империи, хотя они и нарушили столь бесцеремонно ее границы. Поэтому император, олицетворение благоразумия, человеколюбия и великодушия в сочетании с доблестью, которая всегда должна пылать в сердце истинного монарха, наметил план действий и предлагает обсудить его, чтобы затем претворить в жизнь. Но сперва пусть великий domestik доложит, какими силами он располагает на западном берегу Босфора.

– Военные силы империи бессчетны, как звезды на небе

¹³ О кровопролитной битве при Дураццо в октябре 1081 года, в которой Алексей потерпел поражение от Роберта Гискара и спасся только благодаря быстроте своего коня, см. у Гиббона, гл. LVI. (Примеч. авт.)

и как песок на берегу морском, – таков был ответ великого domestика.

– Это был бы прекрасный ответ, – заметил император, – если бы здесь присутствовали посторонние, но поскольку у нас тайное совещание, я хочу получить точные сведения, на какое количество войск я могу рассчитывать. Прибереги свое красноречие для другого, более подходящего случая и ответь мне, что в настоящее время ты имеешь в виду под словом «бессчетные»?

Великий domestик немного помедлил с ответом, но, понимая, что сейчас неподходящий момент для уверток, ибо Алексей Комнин порой бывал опасен в гневе, ответил, хотя и не без колебания:

– Августейший повелитель лучше, чем кто-либо другой, знает, что ответ на этот вопрос нельзя дать наспех, иначе можно и ошибиться. Численность императорских войск, расположенных между этим городом и западными границами империи, не считая находящихся в отпуску, не превышает двадцати пяти, от силы тридцати тысяч человек.

Алексей ударил себя ладонью по лбу, а советники, увидев столь бурное проявление скорби, смешанной с недоумением, тут же вступили в спор, который в ином случае они не стали бы вести в этом месте и в эту минуту.

– Клянусь доверием, которым ты меня облек, святейший государь, – сказал логофет, – за последний год из казны твоего величества было взято золота достаточно, чтобы оплатить

вдвое большее число воинов, чем то, которое назвал сейчас великий domestik.

– Мой государь, – взволнованно возразил задетый за живое министр, – соблаговоли вспомнить, что существуют еще постоянные гарнизоны, которые не входят в названное мною число.

– Замолчите вы оба! – прикрикнул Алексей, быстро овладев собой. – Войск у нас действительно оказалось гораздо меньше, чем мы рассчитывали, но не следует спорами увеличивать трудности, перед которыми мы стоим. Эти войска следует расположить между городом и западными границами империи в долинах, горных проходах, за гребнями холмов и в труднопроходимых местах, где, при искусном использовании позиций, небольшие отряды производят впечатление многочисленной армии. А пока будут проводиться передвижения войск, мы продолжим переговоры с крестоносцами, как они себя называют, насчет условий, при соблюдении которых мы разрешим им пройти через наши земли. Мы не теряем надежды достигнуть с ними соглашения, которое принесет великую выгоду нашему государству. Мы будем настаивать, чтобы они шли через нашу страну армиями, не превышающими пятидесяти тысяч человек зараз, и эти армии нужно последовательно переправлять в Азию, чтобы они не скапливались у стен столицы мира, угрожая тем самым ее безопасности.

Если они будут следовать мирно и в строгом порядке, мы

согласимся снабжать их на пути к берегам Босфора продовольствием; если же их воины начнут отделяться от своих отрядов и грабить население, мы надеемся, что наши храбрые крестьяне не замедлят дать им отпор и сделают это без прямых приказов с нашей стороны, дабы нас нельзя было упрекнуть в нарушении договора. Мы полагаем также, что скифы, арабы, сирийцы и прочие наемники, состоящие на нашей службе, не допустят, чтобы наши подданные терпели урон в то время, когда они защищают себя.

Точно так же, поскольку вряд ли справедливо оставлять страну без продовольствия, снабжая им чужеземцев, мы не будем удивлены и тем более жестоко разгневаны, узнав, что из всего количества муки, несколько мешков окажутся наполненными мелом, известью или чем-нибудь в этом роде. Поистине удивительно, чего только не может переварить желудок франка! Проводники, которых вы тщательно отберете для этой цели, поведут крестоносцев труднопроходимыми и кружными дорогами. Это принесет пришельцам несомненную пользу, ибо приучит их к нелегким условиям нашей страны и нашего климата, а иначе им придется столкнуться с этими трудностями без всякой подготовки. Между тем, встречаясь с их вождями, которых они величают графами и каждый из которых мнит, что он так же велик, как император, старайтесь не задевать их врожденной спесивости, но и не упускайте случая рассказать им о богатстве и щедрости вашего государя. Знатным персонам можно даже пре-

подносить денежные дары, но тем, кто подчинен им, следует делать менее щедрые подношения. Ты, наш логофет, позаботишься об этом, а ты, великий domestik, проследишь за тем, чтобы воины, которые будут нападать на отбившиеся отряды франков, своим видом и одеждой по возможности напоминали язычников.

Возлагая на вас исполнение этих поручений, я стремлюсь к тому, чтобы крестоносцы почувствовали цену нашей дружбы и в какой-то мере опасность вражды с нами и чтобы те, кого мы благополучно переправим в Азию, составили хоть и по-прежнему огромную, но все же меньшую числом армию, с которой мы могли бы потом обойтись со всем христианским благоразумием. Таким образом, улещивая одних и угрожая другим, даруя золото скупцам, власть – честолюбцам и обращаясь с доводами разума к тем, кто способен понимать их, мы, без сомнения, сможем внушить этим франкам, которые прибыли из тысячи различных мест и враждуют друг с другом, что они должны признать своим вождем нашу особу, а не кого-либо, избранного из их же числа. Мы докажем им, что каждая деревня в Палестине, от Дана до Вирсавии^[87]

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Комментарии

1.

«Ирина», акт I. – Стихотворные фрагменты, предпосланные главам I, II, III, V, VI, VIII, IX, X, XI, XII, XVI, XVII, XX, XXIV, XXV, XXVI, принадлежат самому Скотту. «Не подлежит сомнению, – писал известный комментатор поэзии Скотта Дж. Робертсон, – что из всех произведений Скотта эпиграфы и стихотворные отрывки в романах наиболее трудно подготовить к печати. Его манера снабжать главы эпиграфами была, по существу, рассчитана, если не предназначена, для того, чтобы привести в недоумение читателя и редактора. По крайней мере, он с достаточной откровенностью признавал, что “эти отрывки иной раз цитировались по книге, иногда на память, но большей частью представляют собой чистую выдумку”. Он просто-напросто обманывал читателя, когда именовал эти выдумки “старинной пьесой” или приписывал их какому-либо безымянному сыну муз; однако его хитроумные замыслы заходили еще дальше, когда он сочинял стихи от имени известных поэтов. Но даже это не было пределом его фантазии. Он придумал по крайней мере дюжину заглавий несуществующих поэм и делал вид, будто берет из них выдержки. Кроме этого, я подозреваю, что он также выдумал двух или трех поэтов, чтобы приписать им собственные вирши» (Poetical Works of Sir Walter Scott, compiled and edited by J.

L. Robertson. London, 1908, p. 3). Придумывая заглавие несуществующей драмы, Скотт, вероятно, имел в виду супругу византийского императора Льва IV Исаврянина (775–780), которая отличалась красотой и умом, а также властолюбием и своеволием. После смерти мужа управляла государством, но была свергнута в 802 г. и спустя год умерла в ссылке на острове Лесбос.

2.

По всей вероятности, первоначальный замысел романа в самых общих чертах восходит к 1826 г. Об этом свидетельствует запись в дневнике, внесенная Скоттом против 19 февраля: «Обеспокоенный обильно нахлынувшими прихотями воображения и легким сердцебиением, читаю Хронику доброго рыцаря мессира Жака де Далена – историю любопытную, хотя и однообразную из-за постоянных описаний похожих друг на друга сражений, изображаемых все одними и теми же фразами. Словно перебиваешь горы песка ради крупницы золота... Что-нибудь можно будет, очевидно, сделать из повести о рыцарской доблести, о том, как Жак де Дален выходил на “поединок честолюбия” каждое первое число месяца на протяжении года».

3.

...у природы существуют свои законы... – Изложенная

здесь концепция восходит к теории эволюционного развития живого мира, которую развил в своем труде «Философия зоологии» французский естествоиспытатель Жан Ламарк (1744–1829).

4.

В одной прелестной восточной сказке... – Этот сюжет был заимствован Скоттом из сборника английского писателя Дж. Ридли «Сказки о джинах, или Увлекательные поучения Орама, сына Азмаура» (1825).

5.

...отдал бы предпочтение городу Константина... – Константинополь был основан римским императором Константином, прозванным Великим (306–337), в 324 г. на месте древней греческой колонии Византии (по названию этой колонии Восточную Римскую империю стали именовать Византийской) и в мае 330 г. стал столицей империи. Константин перенес столицу империи в Константинополь, так как к тому времени Рим утратил свое прежнее экономическое и политическое значение. Стремясь укрепить и отстроить новую столицу, Константин перевез в нее из разных городов и стран замечательные памятники античного искусства (например, Змеиную колонну из Дельф в Греции, Пурпурную колонну из Рима, множество статуй из Верхнего Египта и др.).

6.

...получилось, что в этот критический период результаты великой религиозной перемены в стране... – Согласно некоторым историческим источникам, в 313 г. Миланским эдиктом императоры Константин и Лициний допустили свободное исповедание христианства в империи. Этот эдикт был вызван необходимостью политического укрепления империи в период ее кризиса. Политическое единодержавие дополнялось и религиозным единством.

7.

...превратившись в 324 году... – Скотт ошибся: Константинополь был объявлен столицей империи в 330 г.

8.

В 1080 году Алексей Комнин взойшел на императорский трон... – Эпоха господства династии Комнинов (1057–1185, с перерывом в 1059–1081 гг.) явилась последним периодом расцвета греческой империи. Эта эпоха характеризовалась значительным оживлением торговли и промышленности в государстве, ослаблением его экономической зависимости от Венецианской республики. При Комнинах успешно развивалась культурная жизнь страны, изучались памятники античной литературы и философии. Вместе с тем империю продолжали раздирать внутренние противоречия,

вызванные усилением социального гнета и движением широких народных масс. Император Алексей I Комнин (1081–1118) вступил на трон после ожесточенной борьбы и смуты. Будучи талантливым дипломатом и политическим деятелем, он с помощью половцев разбил печенегов, сумел заключить мир с турками-сельджуками, союз с Венецией и германским императором Генрихом IV. С переменным успехом Алексей Комнин воевал с норманским герцогом Робертом Гискарром. Положение империи несколько стабилизировалось ко времени первого Крестового похода. Алексею Комнину удалось принудить крестоносцев передать под власть Византии значительную часть Малой Азии, отвоеванную у турок.

9.

Пульхерия (398–453) – дочь императора Аркадия и сестра императора Феодосия II. В 450 г., после смерти брата, стала императрицей.

10.

Петр Пустынник (Петр Амьенский, прозванный Пустынником; ок. 1050–1115) – французский монах-проповедник. Был одним из руководителей крестьянского ополчения в первом Крестовом походе (1096–1099). В 1096 г. возглавил стихийное движение французской бедноты. После разгрома ополчения турками-сельджуками

Петр Амьенский присоединился к походу рыцарей.

11.

...прославленным Боэмундом Антиохийским... – Боэмунд I (1065–1111), старший сын Роберта Гискара, князь Тарентский (Южная Италия), сражался против императора Алексея Комнина, а впоследствии участвовал в Крестовом походе. Свой титул получил после завоевания Антиохии в 1098 г. Вернувшись из похода, он снова развязал войну с Византией, но после неудачной осады Диррахия (Дураццо; современное название – Дуррес) в 1108 г. вынужден был заключить невыгодный мир.

12.

...в его отношении к манихеям или к павликианам... – Манихеи – последователи уроженца Месопотамии Сураика по прозвищу Мани («дух», «ум»), основавшего в III в. религиозно-философскую секту, которая исповедовала учение о добре и зле как о двух безусловно самостоятельных первоначалах, отражая незрелые формы идеологии крестьянских масс. Ортодоксальная христианская церковь признавала это учение еретическим. Павликиане – приверженцы крупнейшего религиозно-мистического дуалистического учения в Византии (VI–IX вв.), близкого манихейству. Свое название это учение получило, по всей вероятности, от имени одного из раннехристианских

еретиков Павла Самосатского.

13.

Константин Палеолог – Константин XII, последний византийский император (1449–1453).

14.

Золотые ворота Константинополя – триумфальная арка в Константинополе, воздвигнутая в 388 г. в честь победы императора Феодосия I (379–395) над Максимом, его соперником в борьбе за императорскую власть.

15.

Феодосий I, прозванный Великим... – См. предыдущ. коммент. Феодосию I, признавшему христианство государственной религией, удалось в последний раз соединить на короткий срок обе половины империи, которая после его смерти окончательно распалась.

16.

Варяги – наемники-скандинавы, служившие в IX–XI вв. русским князьям и греческим императорам в составе специальных дружин. Полагают, что слово «варяг» восходит к скандинавскому «варар» (клятва), что подчеркивает отношение дружинника к нанявшему его князю. В своих комментариях к роману Скотт подробно объясняет значение

и происхождение варяжских дружин, ссылаясь на труды французских, итальянских, англо-норманнских и других историков.

17.

Преторианская гвардия в Риме. – Имеются в виду солдаты императорской гвардии, которая с I в. принимала участие в дворцовых переворотах.

18.

...от Эльсинорского пролива в проливы Сеста и Абидоса. – Эльсинорским проливом называется самая узкая часть Зундского пролива, отделяющего Данию от Швеции. На берегу пролива стоит Эльсинорский замок, где происходит действие трагедии Шекспира «Гамлет». Сест и Абидос – два древних города во Фракии, противостоящие друг другу по обоим берегам Геллеспонта (Дарданелл). С этими городами связано множество преданий.

19.

Туле – в представлении древних греков крайняя северная земля в Атлантическом океане (иногда отождествлялась с Исландией или Норвегией). Отсюда выражение – ultima Thulfit (крайняя Туле, то есть предел обитаемого мира).

20.

...ссылками на византийских историков... – По всей вероятности, Скотт имеет в виду помимо Анны Комнин таких выдающихся византийских историков XI–XIII вв., как Никифор Вриенний, Иоанн Киннам, Никита Хониат (Акоминат) и Никифор Влеммид.

21.

Кастор – в греческом мифе сын Зевса. В древней Спарте вместе со своим братом Поллуксом считался покровителем гимнастики и искусным кулачным бойцом.

22.

Фидий и Пракситель – великие древнегреческие скульпторы (V–IV вв. до н. э.).

23.

Истмийские игры – греческий праздник в честь Посейдона, отмечавшийся раз в два года на Истме (Коринфский перешеек), где находился храм Посейдона. Праздник состоял из гимнастических, конных и музыкальных состязаний. Согласно наиболее распространенному варианту мифа, Истмийские игры были учреждены героем Тесеем.

24.

...из восточной сказки... – Имеется в виду «Повесть о царе

Шахрамане, сыне его Камар-аз-Замане и царевне Будур» из «Книги тысячи и одной ночи» (ночи 170–249).

25.

Кидн – так называлась в древности горная река в Киликии (Малая Азия).

26.

...«непоколебимые римляне сотрясали мир»... – цитата из «Энеиды» Вергилия (I, 1).

27.

...века более богатого, нежели бронзовый. – В представлении древних бронзовый (медный) век пришел на смену золотому и серебряному – эпохам блаженной жизни людей. Третье поколение жило в медных жилищах, не знало земледелия и добывало пропитание грабежом и насилием.

28.

Назаряне (назарей) – первые христиане из иудеев. По преданию, Христос провел детство в Назарете.

29.

Ликург – легендарный законодатель древней Спарты.

30.

...со времен замечательного центуриона Сизифа. – Здесь это имя вымышленное.

31.

Митилена – в древности самый важный город на острове Лесбос в Греции. В начале Средних веков название перешло на весь остров.

32.

Аргус – в греческой мифологии стоглазый великан, которого усыпил и убил бог Гермес. Богиня Гера поместила глаза Аргуса на хвосте павлина.

33.

Таковы были разбойники древности, все эти Диомеды, Коринеты, Синны, Скироны, Прокрусты... – Диомед – в греческом мифе фракийский царь, который кормил своих свирепых коней мясом попадавших в его руки путников. Перифет, сын бога Гефеста, прозванный Коринетом (дубиноносцем), дубиною убивал проходящих путников. Синн (Синнид) по прозвищу Питиокампт (сгибатель сосен) ловил путников, привязывал их к вершинам согнутых сосен и, отпустив деревья, разрывал людей пополам. Скирон грабил прохожих, заставлял их мыть себе ноги и сталкивал с утеса. О Прокрусте рассказывалось, что он укладывал схваченных им путников на ложе (прокрустово ложе). Если

они были малы для этого ложа, Прокруст растягивал их; если велики, то отрубал им ноги. Коринет, Синн, Скирон и Прокруст были побеждены и убиты героем Тесеем.

34.

Клянусь святым Георгием... – В житии рассказывается, будто Георгий Победоносец был солдатом римского императора Диоклетиана (IV в.); замученный и казненный за переход в христианство, он был причислен церковью к лику святых. Со времени Крестовых походов считался покровителем Англии.

35.

...это Ахилл гонится за Гектором вокруг стен Илиона... – В «Илиаде» рассказывается, что Ахилл, сын мирмидонского царя Пелея и морской богини Фетиды, непобедимый герой, перестал принимать участие в Троянской войне, потому что поссорился с предводителем греков Агамемноном. Однако, потрясенный гибелью своего друга Патрокла, убитого троянским героем Гектором, Ахилл поклялся отомстить и примирился с Агамемноном. Ахилл отогнал троянцев и убил Гектора. Троя иначе называется Илионом в честь Ила, царя дарданов, сына Троя и Каллирои, построившего этот город.

36.

Беотия – самая обширная из областей Средней Греции. Ее жителей считали ограниченными, туповатыми людьми.

37.

Грамматикам того времени... – В Греции и Риме грамматиками называли ученых, занимавшихся толкованием литературных произведений.

38.

...когда английская армия еще не была перестроена герцогом Йоркским. – Имеется в виду Фредерик Август, герцог Йоркский (1763–1827), сын короля Георга III, с 1798 г. главнокомандующий британской армией. Потерпев ряд поражений в войне с Францией, он пытался провести военную реформу.

39.

Протоспафарий (греч. «первый меч») – главный телохранитель императора.

40.

Никанор – победитель (греч.).

41.

Гемптон – в описываемое время небольшой город на Темзе, вблизи Лондона, ныне район британской столицы.

42.

Лаодикея – название нескольких греческих городов в Азии, здесь – вымышленное.

43.

Святой Георгий Каппадокийский. – Каппадокия – древнее название области на востоке Малой Азии, где в Средние века существовал храм Святого Георгия.

44.

...отец разил ею воров норманнов при Гастингсе. – Гастингс – город на южном побережье Англии, где в 1066 г. состоялась битва между англосаксами и норманнами во главе с герцогом Вильгельмом Завоевателем. Одержав решительную победу в этой битве, норманны установили свое господство на острове.

45.

Бухта Золотой Рог – обширная и удобная для стоянки судов константинопольская бухта.

46.

Влахернский дворец и монастырь были сооружены в V в. в западной части Константинополя.

47.

...изваяние, изображавшее две руки... – Над престолами алтарей в византийских храмах укреплялось рельефное изображение святого, благословляющего молящихся.

48.

Анна Комнин (1083–1148) – дочь императора Алексея Комнина. Она усвоила византийскую образованность, изучив не только красноречие, поэзию, математику и физику, но и философию Аристотеля и Платона. Выйдя замуж за Никифора Вриенния, прославленного полководца и государственного деятеля, Анна тщетно пыталась вместе с ним после смерти отца захватить престол. По смерти мужа удалилась в монастырь. Написанная ею история царствования отца под названием «Алексиада» содержит многие интересные подробности о крестоносцах и принадлежит к лучшим историческим сочинениям византийцев.

49.

Роберт Гискар, то есть Лукавый (1015–1085), – норманнский вождь, создавший в Южной Италии и Сицилии могучее государство и лишивший Византию всех ее итальянских владений. В 1081 г. он наголову разбил Алексея Комнина при Диррахии. Впоследствии воевал на стороне Римского Папы Григория VII против германского императора Генриха

IV. Придя в 1084 г. на помощь Папе, осажденному в Риме императором, разгромил Генриха IV, но при этом разрушил и разграбил город.

50.

Циники (киники) – последователи философской школы, основанной в IV в. до н. э. учеником Сократа Антисфеном и названной по месту, где происходило их обучение (Киносарг). Циники отвергали нравственные нормы, основанные на общественных условностях, и призывали к «естественному» поведению.

51.

Элефас (Элефант; греч.) – слон.

52.

Гимнософисты (греч.) – «нагие мудрецы». Так греки называли индийских философов, строгих аскетов, отвергавших даже одежду и проводивших жизнь в созерцании.

53.

Гиперборея – по верованиям древних греков, народ, обитавший на Крайнем Севере.

54.

Таранис (Таранн) – дух грозы и бури в религии друидов, жрецов у древних кельтских народов.

55.

...портрету Александра, написанному плохим художником, укравшим кисть Апеллеса. – Имеется в виду портрет греческого царя Александра Македонского (336–323 до н. э.). Апеллес – выдающийся древнегреческий живописец IV в. до н. э.

56.

«Осада Дамаска» – пьеса английского драматурга Джона Хьюза (1677–1720). Эпиграф заимствован из первой сцены второго действия этой пьесы.

57.

...наш августейший отец воскликнул: «Святая София!»... – Святая София, именем которой был назван знаменитый храм в Константинополе (превращенный после захвата Византии турками в мусульманскую мечеть), считалась покровительницей Византии.

58.

В те ночные часы, когда, по выражению божественного Гомера, спят и боги и люди... – «Илиада», песнь I, строка 1.

59.

...ударил жезлом пророк Моисей... – В Библии рассказывается о том, как Моисей рассек жезлом скалу, чтобы исторгнуть воду и напоить сынов Израилевых в пустыне (Числа, XX, 11).

60.

...говоря языком Горация... – Имеются в виду «Оды», кн. I, 9.

61.

...как некогда сражался доблестный Менелай за тело Патрокла. – В «Илиаде» рассказывается, как спартанский царь Менелай сражался с троянцами за тело убитого героя Патрокла, друга Ахилла, и вынес его с поля битвы.

62.

Идумейцы (идумеи, эдомитяне). – Идумеей, или Эдомом, называлась в древности страна, расположенная между Мертвым и Красным морями.

63.

Себастократор (греч. «августейший») – высший сановник греческой империи.

64.

...пифийский бог может разгневаться... – Пифий – одно из прозвищ (эпиклес) бога Аполлона, победившего чудовищного дракона Пифона.

65.

...его вел... столп огненный. – В Библии рассказывается, будто бы Господь явился в виде огненного столпа, дабы вывести народ Израиля из пустыни.

66.

Греческий огонь – зажигательная смесь неизвестного состава, употреблявшаяся греками для военных целей.

67.

Гуго де Вермандуа (1057–1102) – сын французского короля Генриха I (1031–1060), участник первого Крестового похода; по прибытии в Византию был, как один из самых знатных вождей крестоносцев, с почетом встречен императором Алексеем Комнином и принес ему ленную присягу.

68.

Государь Франции – имеется в виду Филипп I (1060–1108), сын Генриха I и дочери Ярослава Мудрого Анны, из-за интердикта Папы не принимавший участия в первом Крестовом походе. Брак между Генрихом I и Анной

Ярославовной был заключен в 1051 г.

69.

Знамя святого Петра – римско-католическая церковь считает Папу преемником князя апостолов – Петра.

70.

Готфрид Бульонский (1060–1100) – герцог Нижней Лотарингии. Предание делает его верховным вождем первого Крестового похода. После взятия Иерусалима он был избран королем завоеванных земель, однако отказался от титула.

71.

...Готфрид может считаться Агамемноном. – Согласно греческому мифу, аргосский царь Агамемнон был предводителем греков в Троянской войне.

72.

...некий Роберт, носящий титул герцога Нормандского... – Имеется в виду Роберт II, прозванный Коротконогим (1060–1134), старший сын Вильгельма Завоевателя. В 1087 г. принял титул герцога Нормандского. Он участвовал в первом Крестовом походе после безуспешной борьбы со своим братом Вильгельмом II, унаследовавшим английский престол.

73.

Эрл (англосакс.) – граф.

74.

Александрийская библиотека – знаменитое книгохранилище древности, памятник эпохи эллинизма. Основана в Александрии египетской в III в. до н. э. Часть библиотеки сгорела в 48 г. до н. э. при сражении с войсками Юлия Цезаря. В 273 г. император Аврелиан приказал сжечь здание библиотеки, и драгоценные свитки были перенесены в храм бога Сераписа. Самый серьезный ущерб был нанесен книгохранилищу христианами-фанатиками, которые в 391 г. разрушили храм. Остатки свитков были уничтожены мусульманами при халифе Омаре в 642 г.

75.

Прокопий (ок. 490–562) – знаменитый византийский историк, автор «Истории войн императора Юстиниана с персами, вандалами и готами».

76.

Стикс – в послегомеровских сказаниях река в подземном царстве.

77.

Юстиниан (537–565) – византийский император. В годы его царствования империя находилась в зените своего могущества.

78.

...его ослица... заговорила с ним. – В Библии рассказывается, что месопотамский прорицатель Валаам, прельщенный богатыми подарками и посулами моавитянского царя, собирался проклясть народ Израиля, но Бог послал ему предостережение: бессловесная ослица, заговорив человеческим голосом, изобличила его безумие.

79.

Старший Брут – Луций Брут, один из двух первых римских консулов, избранных после свержения царя Тарквиния Гордого (VI в. до н. э.) и установления Римской республики. Опасаясь царя Тарквиния и его жестокости, Луций притворился безумным, за что его и прозвали Брутом (глупцом). Эта хитрость позволила ему обмануть царя и подготовить его свержение. Луция Брута называют старшим, в отличие от другого Брута – убийцы Юлия Цезаря.

80.

Во стане Агрикана в день... – Имеется в виду сюжет поэмы итальянского поэта Маттео Боярдо (1441–1494) «Влюбленный Роланд», где рассказывается о том, как

Агрикан, король Тартарии, стремясь захватить прекрасную Анжелику, осадил в замке ее отца Галлафрона, короля Китая. Пэры Карла – то есть Карла Великого, короля франков (с 768), императора (с 800), венчанного Римским Папой (ум. 814).

81.

Эпиграф заимствован из поэмы Джона Мильтона «Возвращенный рай» (кн. 3, с. 337–343).

82.

Префект – так в Древнем Риме именовались разные административные и военные должности.

83.

Претор – должностное лицо, осуществлявшее высшую судебную власть и охрану внутреннего порядка.

84.

Квестор – должностное лицо, ведавшее государственной казной.

85.

Царь Соломон – царь объединенного израильско-иудейского царства (X в. до н. э.). В Библии, а также в средневековой, и особенно восточной, литературе Соломон изображается как

мудрый, справедливый государь, обладавший несметными богатствами, повелитель духов. Ему приписывается ряд произведений, вошедших в Библию.

86.

...они сражались в Дураццо... – Дураццо (Диррахия) – город в Албании. В X–XI вв. был многократно осаждаем болгарами и наконец захвачен Никифором Вриеннием. В 1081 г. Роберт Гискар разбил здесь императора Алексея и взял город, но отдал его обратно в 1085 г.

87.

Дан и Вирсавия – города, расположенные соответственно на крайнем севере и крайнем юге Палестины. Выражение «от Дана до Вирсавии» означает «вся Палестина».